Фурманов

ШУТЬ К БОЛЬШЕВИЗМУ

ИНСТИТУТ ЛЕНИНА
БИБЛИОТЕКА
ГК15
Ф968

ДМ. ФУРМАНОВ

ГК15р
Ф968

ПУТЬ К БОЛЬШЕВИЗМУ

«ПРИБОЙ»

ТК15
ф968 р

ДМ. ФУРМАНОВ

ПУТЬ К БОЛЬШЕВИЗМУ

1917 — 1918

(ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК)

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
ЛЕНИНГРАД

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
2008

ГК15
ф968р

Библиотека
Института Ленина
при Ц. К. В. К. П. (б.)
64777
12604 992 69799

ГОС. ТИПОГРАФИЯ
ИМЕНИ
ЕВГ. СОКОЛОВОЙ
ПР. КРАСН. КОМАНДИРОВ 29
ЛЕНИНГРАД

1927

Ленинградский Гублит № 39281 Тираж 6.000—15 л. Заказ № 888

ИЗВИЛИСТАЯ ДОРОГА

Книга Дм. Фурманова «Путь к большевизму» — литературный факт исключительного значения.

Прежде всего это — первоклассный исторический источник. Перед читателем развертывается яркая картина 1917—1918 гг. в Иваново-Вознесенске. Октябрьские события в этом рабочем центре уже нашли себе освещение в статьях И. Фиргера («Красная летопись», № 6), Ф. Н. Самойлова («Пролет. Революция», № 10 за 1924 г.) и, наконец, самого Фурманова («Пролет. Революция», № 10 за 1922 г.). Но, во-первых, эти статьи охватывают значительно меньший хронологический отрезок. Во-вторых, они крайне невелики по размерам. В-третьих, — и это самое главное, — они в большинстве написаны значительно позднее на основании сохранившихся в голове воспоминаний. Между тем, настоящая книга Фурманова представляет из себя подробные записи, сделанные автором в те самые дни, когда происходили описываемые события.

Это, вообще, — если не единственный, то крайне редкий случай. Невозможно представить себе, как умудрялся Фурманов, без отдыха варившийся в революционном котле, систематически фиксировать в те дни и внешние факты и связанные с ними переживания и размышления. Если есть еще такие дневники активных деятелей революции 1917 г., то, во всяком случае, их чрезвычайно мало.

Дневник Фурманова отражает все характерные моменты, все этапы и отличительные черты февральско-октябрьской эпохи. Перед нами встает хмельной угар марта 1917 г. с ви-

димостью «обще-национального подъема», с необнажившимися еще классовыми противоречиями, с дружескими совещаниями купцов и рабочих, офицеров и солдат. А в мае уже местные революционные органы оказываются вынужденными, по требованию рабочих, арестовать крупнейших местных капиталистов. Так быстро рассеялся туман «единения классов». Фурманов рисует постепенное пробуждение рабочей массы к активной политической жизни, дает почувствовать нарастание революционного шквала. Мелькает корниловщина. Разражается Октябрьская гроза.

Обстановка и ход Октябрьских событий переданы в дневнике с несравненной красочностью. Чего стоит замечательная картина работы телефонной станции во время саботажнической забастовки почтовиков.

Дневник дает много характерного материала по одному из важнейших вопросов истории экономической политики советского государства. Как известно, после Октябрьского захвата власти, Ленин и с ним большинство большевистской партии наметили экономическую политику, в основном предвосхищавшую нэп. Бешеное сопротивление капиталистов, саботаж интеллигенции, белогвардейские заговоры, восстания, наступления, наконец, интервенция — принудили отказаться от этой политики и перейти к методам всеобщей национализации, привели к хозяйственной системе, известной под именем «военного коммунизма». Как прекрасно разъяснил Ленин в одной из речей осени 1921 г., русская буржуазия, естественно, не пожелала подчиняться советскому государству или договариваться с ним прежде чем убедилась, что захват власти пролетариатом — непреодолимый факт. Эта вынужденность перехода к политике решительной и широкой национализации подтверждается множеством фактов, приведенных в дневнике Фурманова. Вообще картина после-октябрьского саботажа предпринимателей и ответной национализации фабрик в Иваново-Вознесенском районе — одна из интереснейших страниц не только в книге Фурманова, но и во всей нашей исторической литературе.

Чрезвычайно характерно описание развертывания работы отдела народного образования в обстановке саботажа учительства и катастрофического недостатка культурных

сил. Важны беглые зарисовки деятельности Фрунзе в Иваново-Вознесенске.

Словом, исключительная фактическая ценность дневника не подлежит сомнению. Но еще значительнее его социально-психологическая ценность. С обычными для него искренностью, откровенностью и прямотой, Фурманов обрисовал свою политическую и психологическую эволюцию, завершившуюся его приходом в ряды большевистской партии. Даже индивидуальный путь такого человека, как Дмитрий Фурманов, к большевизму заслуживает внимания. Но ведь путь к большевизму Фурманова это — не только его личный путь, это — также дорога целого поколения, целого социального пласта. Раскрывая одну из важнейших страниц своей биографии, Фурманов раскрывает тем самым страницу биографии ряда своих современников. И если сам он представляет из себя резко выдающуюся историческую фигуру, то ведь это означает, что характерные черты родственного ему социального слоя проявились в нем с особой силой.

Февральская революция застала Фурманова совершенно неподготовленным к сознательному участию в борьбе. Как и большинство людей его поколения, вышедших из мещанской среды, до самой весны 1917 г. он оставался политически безграмотным. Он отмечает в своем дневнике, что до этой исторической весны он не имел представления о классовых противоречиях и классовой борьбе. И когда он с горечью признает, что масса интеллигенции вошла в революцию без всяких ответственных знаний, это признание относится и к нему самому. Он прав, предполагая, что его общественные стремления и боевой темперамент быстро привели бы его в ряды крайних революционных группировок подполья, если бы он узнал про них до революции. Но ему не удалось заранее наткнуться на какой-либо источник революционной мысли и дела. И сложную работу политического самоопределения ему пришлось проделывать уже в водовороте революционного года.

Наивно и празднично встретил он низвержение царизма. Недаром, страницы о Февральской революции в его дневнике открываются расплывчатыми, неопределенными, бесхребетными стихами Надсона. Показной и непрочный блеск

«обще-национального единения» обманул Фурманова. Характерно его умиление перед упомянутыми мартовскими совместными совещаниями представителей буржуазии и пролетариата. С подкупающей искренностью отмечает он в дневнике туманность, бессодержательность и лирическую фразистость своих первых митинговых речей.

Первые известия о большевиках, разрушающие этот неопределенный энтузиазм, эту розовую иллюзию, вызвали недовольство. Фурманов в дневнике неприязненно отзывается о непонятных демагогах, нападающих на возглавляющее революцию Временное правительство. Строгая научность марксизма, классовая точка зрения, вообще, отпугивали даровитого юношу, полного весенней романтики начальных месяцев революции. Но эта романтика не могла ужиться с торгашеской «трезвенностью» буржуазных партий. И, после короткого периода неопределенной «внепартийной» работы, Фурманов примкнул к партии эс-эров, к этой бесформенной смеси мещанской, реакционной, интеллигентской мягкотелости и крестьянской демократической революционности, смеси, в которой революционные элементы уже окончательно вытеснялись реакционными.

Срастись с партией Керенского и Чернова Фурманов не мог. И если в мае он оформил свое эс-эровство, то в июле внутренний духовный разрыв с партией с.-р. был уже налицо. Этот перелом совершился во время длительной агитационной поездки Фурманова по деревням. Наблюдения над взаимоотношениями русских крестьян и немецких военнопленных помогли Фурманову преодолет штампованный социал-патриотизм и прийти к революционному интернационализму.

Однако, организационное оформление этого разрыва с керенщиной удалось Фурманову с большим трудом. Он еще пытался сработаться в эс-эрами, пытался воздействовать на них в сторону интернационализма, пытался предотвратить раскол. Решиться на раскол было для него тем трудней, что его собственная идеология была еще для него недостаточно ясна. Идейно порвав с эс-эровщиной, он не мог удовлетвориться и половинчатой идеологией левых эсэров. И вот его начинают увлекать крайние лозунги максималистов. Этот разрыв с лагерем мещанской реакции доставляет ему величайшее наслаждение.

Он не боится смелых и резких выводов. Его группа берет курс на революционное прекращение империалистической войны и на вооруженное восстание против Временного правительства. Замечательно, что уже в эти дни Фурманов смутно осознает классовый смысл своего разрыва с эс-эрами: он отмечает в дневнике, что у эс-эров остались мещане, а ушедшие в большинстве рабочие.

В дни Октябрьской революции, Фурманов — председатель революционного штаба, вскоре после этого — член областного Исполнительного комитета и заведующий губернским отделом народного образования. Он весь отдается советскому строительству. Ему приходится вникать в самые разнообразные отрасли работы. Он растет не по дням, а по часам. Уже в октябре он возмущается перемирием, которое московские товарищи заключили с эс-эрами, он провозглашает неизбежность гражданской войны, он предсказывает лишение буржуазии избирательных прав, он возражает против свободы буржуазной печати. Если весной он возмущался нападками большевиков на таких честных людей, как министры Временного правительства, то теперь он объявляет самых честных социал-соглашателей худшими врагами.

Максимализм все менее и менее удовлетворяет его, но, прежде чем прийти к большевизму, он должен пройти еще один этап: благоприятные результаты децентрализации продовольственного дела, вызванной первоначальной неналаженностью советского продовольственного аппарата, толкают мысль Фурманова к работе над проблемой децентрализации. И отсюда — увлечение анархизмом, но увлечение непрочное, необоснованное. Камнем преткновения для фурмановского анархизма являлся вопрос о работе в Совете. Догматы новой веры заставляли бойкотировать органы власти. Он понимал, что можно только или работать в советах, или свергать их. И он не мог отказаться от родной и близкой ему работы в Совете. Он пытался себя утешить, что совет, собственно, — даже и не власть, хотел даже создать новое учение: анархо-большевизм. Но это уже была прощальная дань прошлому. Вопрос был решен. Марксизм, большевизм уже владели умом и сердцем Фурманова.

Извилистая дорога привела куда надо. Замечательные страницы дневника, относящиеся к моменту вступления

в РКП (июль 1918 г.). Свой переход от анархизма к большевизму Фурманов расценивает, как переход от бунта к борьбе, от революционного чувства — к революционному разуму. Он чувствует, что только теперь он приобрел и теоретическую почву и прочную классовую базу.

Этот период исканий и метаний был уделом не одного Фурманова. У Ильи Сельвинского есть замечательное стихотворение «Наша биография», рисующее судьбу деклассированных разночинцев революции:

... И едва успев прослышать марксизм,
Лишенные классового костяка,
Мы рванулись в дым, по степям, по сизым,
Стихийной верой своей истекать.
И если бы этой вере наука
Взамен утопических корневищ —
Мы знали бы свой политический угол,
И не жег бы совесть шелудивый свищ.
Но выли плакаты, трибуны и газеты,
Все что-то знали, все были тверды,
А мы глотали и то и это,
И не умели заплатывать дыр.
Мы путались в тонких системах партий,
Мы шли за Лениным, Керенским, Махно,
Отчаивались, возвращались за парты,
Чтобы снова кипеть, если знамя взмахнет...

Одни из этих «переходников» так и остались «лишенными классового костяка» и либо отошли от революции, либо остались более или менее близкими попутчиками ее. Другие крепко спаялись с пролетарскими массами, выварились в большевистском котле, стали трудовыми бойцами «батальонов рабочего класса». Вторая дорога и была дорогой Фурманова.

И те, кто еще не вступал на эту дорогу, пусть извлекут из этой книги ту радостную готовность, то великое умение неустанно учиться у жизни, которые позволили Фурманову пройти через этап метаний, стать ярким образцом большевика и в жизни и в искусстве.

Г. Лелевич.

ПУТЬ К БОЛЬШЕВИЗМУ

2—III—1917 г.

«О, мой друг, не мечта этот светлый приход,
Не пустая надежда одна.
Оглянись, зло вокруг чересчур уж гнетет,
Ночь вокруг чересчур уж темна.
Мир устанет от мук,
Захлебнется в крови,
Утомится безумной борьбой —
И поднимет к любви, беззаветной любви
Очи полные скорбной мольбы».

Вот оно пророчество молодого чуткого поэта. Мир устал от мук и поднялся могучей волной добывать украденное счастье. То, что еще вчера было «таинственной вестью» — претворяется в дело.

Поднялись рабочие с утра; остановили все фабрики; очистили средне-учебные заведения. Всюду ходят толпами. Есть красные флаги. Поют песни. Еще с утра было что-то неспокойно. Часов в одиннадцать с песнями ворвались кавалеристы — их только-что выгнали рабочие. Я побежал на курсы; там с Михаилом вывесили объявление:

По случаю великих событий, происходящих в России, занятия на курсах прекращены до воскресенья.

А в воскресенье придут на спевку и тогда споем песню свободы. Хотелось бы собрать педагогический совет. Настроение таково, что дух захватывает. В Петербурге арестовано правительство, во главе поставлено новое. В Москве начальник военного округа Мрозовский заперся с частью полиции в Кремле, но был принужден сдаться. Отовсюду

идут, мчатся, ревут беспокойные боевые вести. Люди ходят с восторженными, вдохновенными лицами. Готовятся к великому празднику России. Полицейских нет, все попрятались. Все заволновалось, заходило, словно в морской качке. Рушится старое зло, родится молодая, свободная Россия.

3—III

Учрежден Революционный комитет общественной безопасности в составе 72 человек. Сюда вошли 15 представителей от рабочих, 7 — от командного состава 199 полка, 10 — от строевого состава того же полка, по два представителя от «Единение—Сила», «Почин», «Благоустройства Ям», «Общества грамотности» и т. д. Этот Революционный комитет берет на себя управление городом — от распоряжений до наказаний — включительно. Стоят еще открытыми вопросы о городской милиции и об аресте должностных лиц. Впрочем, к вечеру уже носились упорные слухи, что ненавистный полковник Смирнов сидит под арестом. В 5 часов было собрание правления общества грамотности. Были даны директивы членам, выбранным в Революционный комитет. На сегодня назначено новое собрание где, между прочим, будет обсуждаться вопрос о захвате местной печати. Глупый Павел Иванович уже во вчерашнем номере глупого листка глупо, по-ребячески, отозвался о манифестациях и красных флагах.

На собрании учащихся средне-учебных заведений была такая неурядица, так мало толку, что дольше получаса немыслимо было оставаться.

Они все кого-то избирали; потом переизбирали; потом наконец, выступил вперед реалист и стал оправдываться перед всем честным собранием, что «его избрали, а он, ейбогу, не сам пошел и что на то есть свидетели». Сначала никто ничего не понимал, но в конце концов выяснилось, что «мальчишки над ним смеются и зовут выскочкой, а потому он и хочет передо всеми сразу оправдаться». Его оттерли в сторону и долго еще было слышно, как бранится он в коридоре, излагая перед кем-то свои беспокойные мысли. Затем выступил студент. Он производил впечатление пятикласс-

ника, надевшего студенческую тужурку; говорить он совершенно не умел и все время за что-нибудь хватался: то нос подчищает с обеих сторон большим пальцем, то гладит волосенки, то лезет за пазуху. Сам он был весьма жалок, но замыслы, повидимому, были у него наполеоновские. Он кажется первокурсник и потому речь начал следующим образом:

— Господа. Мы, студенты, совсем не то... мы не так ведем собрание, у нас все по-другому... Например, вы шумите, а мы не шумим, потому что надо все услышать... А то ведь как же вы будете спорить, раз вы ничего не слышали. А раз вы не спорите — вы лишний член... Вот она логика: кто шумит — тот лишний член. А потому, господа, я буду указывать вам... Потому что когда мы совсем еще молодежью приезжали в Москву, так мы там не умели себя... т.-е. мы еще там не общественные работники... А надо быть всем общественными работниками... Так вот, господа, отсюда следует, что вы не шумите...

Это было в иной, стол же бессвязной редакции, повторено несколько раз.

Бестолковщина страшная. Несорганизованность полная. У многих — прекрасные, благородные мечты, а ясный и бодрый подъем — у всех.

Затем я прошел на собрание интеллигенции.

Собрание интеллигенции хотели устроить еще накануне в виду полной ее несорганизованности, в виду еще и того, что уже раздавались отдельные недовольные голоса, уличавшие ее в полной бездеятельности. На собрании мало что было разрешено окончательно в виду малолюдности самого собрания (чел. 150). Выработаны были, между прочим, тексты благодарственных телеграмм:

1) Временному исполнительному комитету государственной думы,

2) Родзянко,

3) Совету рабочих депутатов.

Президиум остался заседать.

Еще ранним утром можно было беспокоиться за судьбу поднявшегося народа. Но вчерашние газеты окончательно спасли положение. Когда узнали, что обе столицы в руках

революционеров, что все войско на стороне народа — руки были развязаны, сердце еле держалось в груди. Местный полк целиком перешел на сторону народа; офицеры поклялись честным словом стоять за народ. Полковник с ними, но ему никто не верит: такой подлец может нарушить даже честное слово. Потому упорно всеобщее желание его ареста. К вечеру, говорят, арестовали. Жандармы и полиция обезоружены. Совершилось небывалое в летописях событие: 15 человек полицейских, во главе с полицмейстером, осененные 5 красными флагами подошли к Думе с громкой возбужденной марсельезой. У них на груди красные бантики, на устах слова равенства, братства, а главное свободы. Но конечно, никто им не верит. Их щадят, потому что вообще настроены все против эксцессов. Тихо, торжественно и величественно проходит странница-революция. На площади все время огромные народные толпы. Уходят манифестации, а на их место приходят новые. Оживление могучее—спокойное. На лицах у всех — светлый праздник. И не простой праздник — а именно Светлое воскресенье, когда уж греют солнечные лучи, когда говорит без умолку пробужденная природа. Вот и теперь льются речи, как голоса пробужденной природы, скованной долгим, мучительным сном. Все пробудилось и так обрадовалось сознанью, что сон не окончился смертью, так обрадовалось солнцу, что заговорило-заговорило, словно милое, но болтливое дитя. Потому речи ораторов бестолковы. Много в них чувства и наружу прорвавшейся жажды борьбы, но еще больше беспомощности и неуменья — все поставить на свое место: и слово и дело. Поэтому слушать ораторов тошно. У них только общие, надоевшие места. Ораторский состав весьма бледен, и он никогда не смог бы здесь что-либо сорганизовать сам по себе. Теперь он только в словах изливает все то, что уже совершилось на деле. Солдаты, даже раненные солдатики с сестрами, идут под сенью красного флага. Идут и поют святые песни освобожденья. И эти свободные песни бьют по сердцам чутких прохожих: они вынимают засаленные платки и спешно трут воспаленные, красные очи.

Детишки бегают с красными бантами; девушки одели красные платья, окрутили косы красными лентами...

Всюду небывалое торжество. Поздравляют друг друга с новым годом; верят, что пришло и новое счастье.

Уже ясно, что дело освобождения встало на твердый грунт единения народа и войска. Момент по сочетанию обстоятельств, единственный в своем роде, повторяющийся один раз в тысячи лет.

4—III

По постановлению Революционного комитета сегодня фабрика встала на работу. Вчерашнее оживление исчезло. Быстро, покорно подчинилась могучая волна голосу рассудка; отряхнула восторг и умчалась в работу. Даже странно как-то. Где это видано, чтобы такая стихийная горячка неорганизованной массы покорилась чему-то иному, кроме своего неудержного чувства. Вспыхнуло, озарило и вдруг стало гореть немигающим ровным светом. Революции, подобно этой, кажется, еще не знает история.

По быстроте, по безжертвенности, по благородству и истинности чутья совершенно неорганизованной массы — это что-то беспримерное, невиданное, неожиданное. Выступления были бледны, разжечь они не могли. Но только ли ораторскими выступлениями, убежденностью и значительностью речей держится восторг вдохновенной массы? Нет. Многие совершенно ничего и не слышат, еще больше слушателей ничего не понимают, или, понимая, не связывают в единое. Но уж такова сила урагана — он увлекает своей стремительностью, заражает, покоряет, укрепляет бессильного, объявляет героя. И вдруг ураган подчинился человеческой мысли, подчинился тому, что ему противоположно, что всегда он ненавидел, против чего всегда боролся. Сила мысли здравого смысла перевесила необузданную волю к действию.

5—III

С трудом пробрался я на заседание Революционного комитета. Обсуждался вопрос о городской милиции. Необычная волнующая картина: сидят тузы, многотысячники,

а теперь может и миллионщики, сидят и толкуют о том, как сместить полицию, грабившую вместе с ними честной народ; плечо к плечу с тузами сидят солдатские депутаты, а вместе с ними офицеры-командиры. В кучку сбились депутаты рабочих; они выступают редко, больше говорит один, отражающий их общее убеждение.

Дальше вперемежку сидят торговцы, педагоги, представители общественных организаций. Было много прений — жарких, интересных прений по вопросу о допущении учеников в милиционеры. Вопрос разрешился отрицательно, мотивируемый двумя соображениями:

1) грязь и ужасы могут отрицательно повлиять на молодые, несложившиеся души;

2) граждане не будут спокойны, если дело общественного покоя и порядка будет вручено подобным лицам.

Кавалеристы и воспитанники Учительского института в милиционеры допущены.

Предельный возраст снизу — 18 лет.

Рабочий день — шестичасовой, при чем остальное время милиционер числится в запасе и в случае нужды может быть вытребован немедленно. Плата — 2 рубля в сутки. Чем выше чин, тем выше, разумеется, плата.

Город разделен на 16 участков, плюс 17-ый — станционный. Выбран начальник милиции и его товарищ. Открыта запись.

Милиционер должен быть грамотен и может попасть в ряды милиции по рекомендации рабочих представителей или общественной организации. Он должен удовлетворять известным физическим и нравственным требованиям. Комиссия по созданию доклада о городской милиции преобразована в Совет. Вопрос о приемке в милиционеры бывших служащих полицейского ведомства предоставляется всецело на усмотрение самого Совета. Арестованы: полицмейстер, его помощник, жандармский полковник, полковой командир и др.

Жалованье полиции числится впредь до особых распоряжений Центрального комитета.

6—III

Председатель сделал заявление комитету, что отдал распоряжение арестовать всех казаков и отнять у них оружие.

Дело в том, что в ночь на сегодняшний день к солдатским патрулям подъезжали казаки — в одиночку и группами, — подъезжали и расспрашивали о силе революционеров, о количестве имеющегося у них оружия, о ближайших планах, о заседаниях и проч. Комитет решил оставить их под арестом впредь до особых распоряжений.

Это уж дурной признак. Повидимому, не так-то уж всюду спокойно и надежно, как может показаться на первый взгляд. Идет тайная, подземная работа. Вся разница с первой революцией лишь в том, что тогда вели подпольную работу восставшие, а теперь отставшие. В народе уж ходят темные, нелепые слухи о том, что скоро будут уничтожать церкви, скоро прогонят священников и введут какую-то новую, никому неведомую религию; что молодой царевич умер; что евреи заняли все «верха» и хотят закабалить Россию; что у нас по всему фронту неудачи и проч. и проч.

В виду всего происходящего Общество грамотности завербовало уже до 10 лекторов, которые в беседе будут разъяснять населению смысл всего происходящего, очищая по возможности правду от явной нелепицы и предумышленной вздорной лжи. У себя на курсах мы уже ведем подобные беседы, пропагандируя, главным образом, необходимость наисознательнейше отнестись к близкому Учредительному собранию, где решается судьба народа.

7—III

В собрании правления Общества грамотности обсуждался вопрос о необходимости познакомить широкие массы с фактической и смысловой сторонами движения. Многие совершенно не знают тех важных подробностей, которыми отмечены первые дни революции; многие питаются только слухами, зачастую передающими события в неточном или даже извращенном виде. Еще не установилась окончательно уверенность в начатом деле. Многие считают всенародное движение, как случайное, как отдельный эпизод в истории

движений; не знают фактов и потому не оценивают в должной мере важности соединения народа и армии. Отсюда страх, несмелая работа, уклончивость. Поэтому Общество грамотности решило принять на себя функцию осведомительного бюро, вводящего население в курс современных событий. Для первой же субботы решено использовать все кинематографы, тем более, что они свободны целую неделю. Пять кинематографов уже дали свое согласие и на субботу 11 числа в них состоятся беседы на тему: «Смысл совершающихся событий».

Тема широкая, безграничная, допускающая любого рода ответвления. Освещение и план беседы предоставляются на усмотрение самого лектора, так что даже самые общие директивы были высказаны только в форме пожелания:

1) Общеимперское положение;
2) Значение единства народа и армии;
3) Задача Учредительного собрания;
4) Уклон в сторону демократической республики.

В дальнейшем подобные беседы, быть-может, удастся устраивать систематически, регулярно.

Вопрос о беседах в ближайшем пригородном округе пока отставлен, в виду недостатка материальной и духовной наличности.

8—III

Уже в 12 часу ночи на заседание Революционного комитета был вызван редактор местной паршивенькой газеты. Соглашение было ему предложено по трем пунктам: 1) продать типографию добровольно, согласно данных двух оценочных комиссий, приноровлявшихся к ценам военного времени (10½ и 11 тысяч); 2) уступить в арендное пользование; 3) в случае отказа по 1 и 2 пунктам секвестровать редакцию и вместо просимых 25 тысяч выдать сумму, назначенную оценочными комиссиями, повысив ее до 12 тысяч. Редактор опешил, но по второму пункту однако же согласился и теперь ему с 25 тысяч идут 18% (8 за редакцию и 10 за возможную порчу машин).

Общество грамотности думает однако же, что те «Известия Революционного Комитета», которые будут выходить

вместо «Ивановского Листка», не смогут удовлетворить назревавших интересов, уделяя сравнительно мало места статьям общего содержания. Потому решено основать свой орган. Местный фабрикант пожертвовал на днях в Общество десять тысяч, эти деньги будут использованы в первую голову. В некоторое сомнение поставил нас вопрос о политической платформе. Правление общества за свой страх и риск не может создать органа печати без обсуждения вопроса на общем собрании. А голос общего собрания представляется еще незнакомцем, хотя перевес в сторону элементов демократических — ясен. Поэтому орган, не защищая детали той или иной политической программы, ставит себе целью проведение демократических начал вообще. Уже имеется в виду 7—8 человек сотрудников, имеются средства — дело только за рабочей силой, так как в местной редакции едва ли придется устроиться.

9—III

Было собрание социал-демократической партии. Особенно чувствуется недостаток рабочей силы. Выступления были вялы, бледны и совершенно не отвечали той жажде хорошего слова, которая отражалась на лицах слушателей. Часть работников рассеялась по тюрьмам, часть рассыпалась по фронту. С начала движения здесь прошла уже неделя. За эту неделю было произнесено множество речей и ни одной из них нельзя было заслушаться, так заслушаться, как это было 12 лет назад. Я тогда еще был совсем мальчиком. Причина отчасти, быть-может, и в этом, но что-то тут есть и другое. Те, что влезают на бочку, еще ни разу не дали толпе ни подъема ни новых сведений. Подъем толпы держится не на огне речей, а единственно собственным внутренним пылом. Время слов отошло, теперь уж им как-то и верят не так охотно; теперь в самую горячку восторженных слов бросают призывы к объединению в профессиональные союзы, разъясняют значение кооперации в движении. Просят дела — живого, неотложного, с видимыми результатами. Поэтому, слушая охотно восторженную, но бестолковую речь неопытного оратора — хлопают и кричат ему

отчаянно, а уходя домой толкуют о другом — о той работе, которая сможет укрепить молодой, чуть оперившийся строй.

Поэтому и собрание партии не дало каких-либо чувствительных результатов в смысле огласки важных фактов, в смысле разъяснений и вообще хороших, толковых речей— нет, ничего подобного не случилось. Но случилось другое, еще более прекрасное, еще более ценное и надежное.

Все демократы почувствовали себя братьями, все почувствовали себя людьми, захотели полной, широкой жизни, освятили мечту на народном доме, о рабочем дворце.

Каждому захотелось чем-нибудь да помочь осуществиться этой дорогой мечте и, когда окончился сбор — оказалось, что эти бедняки (а их было человек 400) собрали до 80 рублей. Кончили песнями и улыбкой на веселых возбужденных лицах.

10—III

Сегодня великий день, — день нашей революции. Море флагов, море восторженных, упоенных лиц, неумолчный поток бестолковых, но порою прекрасных речей. Гимны, и песни, и скорбь о погибших борцах за свободу переплелись с речами, полными твердой веры в зарю новорожденного счастья.

Шлем привет нашим братьям — тем, что томятся в далекой Сибири, в холодных далеких окраинах, в глубоких рудниках, в смрадных тюрьмах — всем, кто еще до сих пор томится в неволе. Мы под сенью скорбного черного флага поем в честь павших героев свои скорбные песни. Но те, что томятся до наших дней — пусть верят они, что близок, уже мчится и к ним час освобожденья. Неужели не чует ваше сердце, далекие братья, что свобода несется к вам словно белый голубь, символ очищения и новой радости. Вы скоро вернетесь. Вы вернетесь в поредевшие ряды своих братьев-борцов и украсите, как венцом, борческую главу демократии. Скорее-скорее, дорогие братья: огненный пурпур зари скоро претворится в тепло и вы не увидите, не поживете восторгами первых революционных дней.

11—III

Первая лекция

Я думал, что буду сильно волноваться, что все перепутаю, замнусь и в результате не выскажу и в десятой доле тех мыслей, что вихрем крутятся в голове. Но вышел спокойно, начал уверенно и твердо... Были отдельные места, когда я чувствовал страшную слабость: начинало туманиться в голове, я терял основную мысль, цеплял слова друг за друга — слова для слов — и все ждал: скоро ли кончится, скоро ли рассеется этот туман?

Он рассеивался. Мысль прояснялась и я снова мог приводить в порядок разбредшиеся мысли. План у меня был широкий; по некоторым пунктам намечался исторический обзор, но так велик был страх долгих остановок, что я почти совершенно не заглядывал в свои наброски и говорил по вдохновению. А ведь еще долгих два часа впереди! Чем я заполню эти два часа? Хватит ли материала? Сумею ли я связать его в одно целое? Иногда проносилась стремительная мысль, что теперь уже вот все оборвется, я притихну, оскандалюсь и попаду в неудобнейшее положение. Мысль шальная, на одно мгновенье и она занимала меня среди хаоса иных мыслей. Я чувствовал и видел лучше чем кто-либо свои недостатки; поражался иногда своими беззаконными скачками, то убегая вперед, то ворочаясь к тому, о чем уже говорилось. Но в то же время я чувствовал и другое: в этих скачках проявлялась бессознательно какая-то особенная хитрость, какая-то ловкость, которая даже передо мною самим затушевывает беззаконности скачков. Находились слова, которые связывали предыдущее с последующим и при тождестве мыслей как будто говорили о новом.

Большую роль сыграл здесь звучный, громкий голос. Он увлекал иногда и меня самого. Я не хвалу пою, не панегирик себе создаю — нет: я только передаю то ощущение, которое родилось во мне под влиянием собственных слов. Сначала все боялся, что материала нехватит и на 40 минут, а на деле получилось, что проговорил 2½ часа. Отмечаю с особенной радостью, что за эти 2½ часа видел много серь-

сзных вытянутых лиц, направленных к столику. Всего собралось до 230 человек. Больше кинематограф вместить не мог. Многие стояли в дверях. Беседу провел без остановки. Голос порою сдавал от усталости, но вдруг оживлялся, крепнул и к концу так свежо зазвучал, что, кажется, продержался бы еще новых 2½ часа.

Скачки были страшные. Из одной отрасли перебрасывался в другую — на собственный взгляд непоследовательно; затронул много вопросов, с которыми сам знаком лишь поверхностно и с такой уверенностью их трактовал, что можно было подумать, будто их разбирает осведомленный, компетентный человек. Иногда, моментами, в голове была совершенная пустота. Я не знал о чем говорить. Здесь спасала начитанность. Прилетали красивые слова, сами собою срывались с языка, и мне сдается даже, что эти именно места и оставляли наибольшее впечатление, как наименее трудные, как наиболее лирические. Часто я мыслью плелся за потоком случайно срывавшихся слов. Сами собой зарождались из этих случайных слов вопросы, разбирать которые не имел в виду—таков, напр., вопрос о роли духовенства. Вообще это состояние: ну будь, что будет — это состояние охватывало и увлекало несколько раз. Не надеялся было я на аудиторию, думал, что утомятся после первого получаса и будут мешать своим хождением, покашливанием, разговором... Ничего подобного не случилось. Все время взрослая публика держалась спокойно и внимательно слушала. Только однажды слушатель не мог сдержаться и среди глубокого молчания вдруг захлопал свое неуместное «браво». Это было один раз. Затем, два-три раза переходили дети с места на место, но и только. Взрослая публика держалась прекрасно. Потом, по окончании подошли две барышни и просили списать заключительные слова лирического тона. Словом, все в порядке вещей. Эти два с половиной часа прошли незаметно. Нашлось и осталось еще незатронутыми совершенно много вопросов: это я заметил только после, когда взглянул в предполагаемый план. Ясно одно: мы, интеллигенция, оказались совершенно неготовыми. В социальных вопросах приходится разбирать все с азбуки. Берешь не знанием, а смелостью, так что в серьезном споре со знающим человеком, пожалуй, что на каждом шагу при-

шлось бы выбираться из грязного положения. Несколько примиряет с этим незнанием искренность порыва, благородность порыва и его полное бескорыстие.

12—III

Состоялись две беседы на тему: «Смысл совершающихся событий». Одна — Архангельского М. И., другая — Салова И. А. Первая была в форме лекции, вторая не настоящей беседы.

Бледно, скучно затронуты были события; у Архангельского не нашлось собеседников. А у Салова получилась непроизводительная пустая болтовня. Защищали и опровергали программу соц.-демократов, ловили друг друга на терминах, на случайных оговорках. Притянули френологию, антропологию, биографию Маркса, врожденность и наследственность... Много было пустейшей болтовни праздных людей, а вопросы текущего момента остались в стороне. Один, напр., говорил:

— Нет, вы что же, нет зачем же перетасовывать мои слова... Вы лучше почитайте в свободную минуту Шопенгауэра, или возьмите Ницше...

— Что Ницше,—отвечал ему оппонент,—вы Ницше не поняли... Есть два рода воздействия на публику: говорить горячо и говорить разумно... Маркс, Энгельс, Каутский... и т. д. и т. д. Словом фразы, фразы и фразы...

А у Салова даже хватает нескромности заявлять во всеуслышание:

— Вот уж вторую неделю я горю в котле огромной работы... Голова трещит... А сегодня еще предстоит два публичных выступления.

Это было сказано во всеуслышание, перед лицом собрания — народа и интеллигенции...

Как только хватает смелости у человека.

Аналогичное заявление было сделано им с подобающими движениями и гримасами в заседании Революционного комитета несколько дней назад. «Мы рабочие, мы...»—это его любимая фраза. Просто физически краснеешь за него. Непростительно. Об остальных позерах и говорить не приходится—

сыплют незнакомыми словами, именами, никому неизвестными фактами. Ни на чем не останавливаются, ничего не объясняют; а что нашему мужичку или рабочему скажут эти красивые слова: «Лозунги классовой борьбы, девиз свободы, коллектив пропагандистов, Маркс, Энгельс, Каутский, кооперативное движение и проч. и проч...». Видно, что люди болтают только для красного словца, ничего в сущности не понимая, ничего не защищая, ни в чем по настоящему не убежденные, никого и ничто не любящие.

Занимает почетная роль главаря, председателя, организатора и только. От этих болтунов кроме вреда ничего получиться не может: простой смертный убеждается воочию, что дело тут безмерно трудное, что слова и дела тут все непонятные, что с его умом тут и делать нечего — робеет оскандалиться, боится напортить другим и остается в стороне. Эти болтуны приносят колоссальный, непоправимый вред. В большинстве они тупые, неразвитые люди, а часто и совершенно бесчестные. Честные больше молчат. Поэтому-то из подобных говорунов впоследствии оказывается так много провокаторов. Редко-редко услышишь разумное, честное слово настоящего работника. Все болтовня, все заполнение пустопорожнего времени, все утоление своей политической, фальшивой жажды.

13—III

Чувствуется острая нужда в злободневной литературе. Ее совершенно нет. Помню в прошлую революцию брошюры наводнили, переполнили рынок. Набежала масса лишнего, совершенно ненужного, сбивавшего с толку доверчивую публику. Теперь картина совершенно обратная, но еще более печальная. Нет ни единой брошюры, которая обсуждала бы события и вопросы текущего момента. Общественные выступления, чтение лекций, ведение бесед — все это пока случайного характера, не налажено, не сорганизовано.

Единственная надежда — сплотить работников вокруг «Общества грамотности». У нас уже имеется ядро человек в 5 — 6. Оно на ближайших днях и поведет работу. Надо соединить разрозненные элементы интеллигенции. Общество

интеллигенции существует; оно делает свои собрания, но практических следов пока нет.

Общество это какое-то странное, безличное, без определенной платформы, без определенного плана работы. Тут, кажется, толку ждать не приходится. Совет рабочих и солдатских депутатов в ближайшем будущем также не намечает работы.

Лучшие работники оттуда попали в Революционный комитет и таким образом выполняют лишь функции связующего звена.

Совет занят большой внутренней организацией. Сам он сбился с пути, не имеет хороших руководителей и пока является корпорацией также довольно бесплодной. Зачем-то допущены представители средне-учебных заведений. Совет теряет физиономию ярко выраженной классовой организации и сбивается на винегрет.

Революционный комитет не имеет совершенно времени заниматься какой бы то ни было пропагандистской работой: он завален повседневной работой по городскому самоуправлению, по продовольственному вопросу, милицией и проч. и проч.

Таким образом совершенно некому взяться за дело оповещения и ознакомления широких масс рабочего и крестьянского люда со смыслом происходящего.

Кружок, образовавшийся при Обществе грамотности, и думает собрать вокруг себя разрозненную интеллигенцию, главным образом, учащих средних и начальных училищ.

Высказано и принято пожелание издавать свою газету. По недостатку рабочих рук, затею приходится отложить до Пасхи. Думаем выпускать и брошюры, но все это пока неосуществимо — на лето, может-быть, удастся забрать все школы для ведения систематических бесед по курсу гуманитарных и общественно-политических наук.

14—III

Сегодня отдан в редакцию местных «Известий Революционного Комитета» призыв к гражданам о пожертвовании книг в нарождающийся рабочий клуб. На собрании комиссии

по устройству рабочего клуба, состоявшемся 12 марта, был выработан устав и назначен день Учредительного собрания (19 марта).

Подыскано уже и здание, так что, в случае успеха, на ближайших днях он сможет расправить свои багряные крылья. Мечта о создании клуба родилась как-то случайно; потом слово за слово, один другому — и на собрании слушателей 10 марта вопрос о клубе был поставлен на повестку дня. Теперь уже никто не сомневается, что скоро у нас будет «Рабочий» — так назвали это новое дитя революции. Все ждут его с нетерпеливой, открытой радостью: — кто не понимает, тот чувствует, что там готовится для него что-то слишком простое, слишком необходимое и потому — решительно прекрасное.

15—III

Создается Техническое общество.

В состав членов правления вошли химики, механики, местные фабриканты... Думают открыть в ближайшем будущем не то курсы, не то школу. На-ряду со специально-техническим образованием будут проходиться и общеобразовательные предметы. За советом и справками обращаются на наши курсы. Первоначально они даже думали взять наши курсы под свою руку, расширить, выдавать нам, преподавателям, из своих средств, а слушателей освободить совершенно от платы.

Но им было заявлено, что московские студенты курсы не отдадут, но от материальной поддержки не откажутся. И решено было дать материальную поддержку — 500 р. ежемесячно (это было решено на следующий день, во 2 заседании).

При обществе устраиваются свои классы, а преподавателей пригласят путем публикации, объявив о вознаграждении (3 р. за час занятий по предметам общеобразовательным).

Остается фикция платы для слушателей (2 р. за полгода), чтобы дать возможность чувствовать себя «хозяевами»,

«учиться за свои» и просто прекратить возможность попасть туда лицам случайным.

В Париже на подобные «открытые» курсы публика часто пряталась от дождя.

17—III

Есть слух, что в 30 верстах в Шуе вырезана целая семья. Идут толки. Выражается недовольство милиционерами.

Впрочем, кажется, к преступлению причастны бывшие полицейские и потому страшный факт признают своеобразной провокацией.

У местных полицейских, говорят, была сходка, где-то в лесу. Что обсуждали, на чем порешили и действительно ли сходка была — никто не знает. Слухи о еврейском засильи и о необходимости погрома исчезли. Одно время стращали предстоящим всебанковским крахом; потом — низвержением христианского вероучения, на место которого, восставшие, якобы, хотят поставить «каждый своего бога»; были толки о близком голоде, о крупных военных неудачах. А на фронте появились германские воззвания, где советуют образумиться русскому человеку, потому что вся, дескать, эта революция — дело жадных англичан, что они хотят оттянуть у нас земли, потому и свергли Николая, якобы прозревавшего их лживую политику.

И много, много пасынков родила благородная революция — пасынков и глупых, и смешных и возмутительных.

18—III

В музее Д. Г. Бурымина состоялась лекция А. С. Д. об Учредительном собрании. Не буду говорить о впечатлении, о достоинствах и недостатках самой техники. Лекторы—это здесь второстепенное, но, сознаться нужно, выражение мыслей, изложение пунктов и разбор их, комбинирование и подытоживание — все это было сравнительно хорошо.

Были отдельные слова — непонятные, новые, которые лектор проходил мимо — в этом его упущение. Впечатление

ослабевало и от той монотонности и словораздельности речи, которые так часто встречаются у начинающих популяризаторов.

Говорить понятно — это ведь совсем не значит говорить отдельно каждое слово и делать после него паузу.

Здесь даже обрывается мысль слушателя, самой этой тягучестью он не может представить общего, потому что помнит только пару-другую смежных слов. Об эстетических последствиях такого способа и говорить уж нечего: зевота, переглядывание, покашливание, кивание головами, а иногда и легкая прогулка.

Все поглощены лекциями и собеседованиями. Приходилось наблюдать такие картины: кончается лекция, рабочие выходят и толпятся у выхода: «А куда бы еще? Нигде не читают? — нет». Притихают на минуту. Но расходиться и не думают: на улице завязывается горячий спор, идет спешное, увлекательное обсуждение злободневных, мировых вопросов. Замечается огромная жажда и вместе с тем очень малая осведомленность, незначительная компетентность. В ближайшем будущем организуется кружок пропагандистов вокруг уже имеющегося ядра лекторов. До сих пор удалось устроить девять лекций: из них 7 на тему «Смысл совершающихся событий» и две — «Учредительное собрание и подготовка к нему». Первые лекции прошли при смешанном составе публики, потому что были афишированы. Теперь поступаем иначе: билеты распространяем только среди рабочих, на фабриках, через своих слушателей. С этой аудиторией беседовать куда интереснее — вопросы задаются по существу и не получается болтовни о френологии, антропологии, Шопенгауэре, Ницше и проч., на что так падка неготовая интеллигенция.

19—III

Я вел новую беседу о текущих событиях в кругу рабочих Воробьева и Глинищева. Правда, собралось немного — большинство «набивало погреба», но впечатление осталось хорошее — у меня от их внимательности, а у них — от животрепещущих вопросов, которые излагались возможно просто и толково.

«Очень и очень просим повторить на ближайших днях...».

Вечером собрались у товарища — слушателя курсов. Всего было 15 человек.

Разбирали программы партий с.-р. и с.-д. Разбирались подробно и одна в связи с другою. Прения были весьма оживленны. В обсуждении, впрочем, принимали участие 5—6 человек, остальные задавали только отдельные вопросы Я формально не причисляю себя ни к одной партии, но перевес симпатий, кажется, в сторону с.-д. Смущает только их основное положение о сосредоточении крупной промышленности в руках отдельных, крупнейших единиц. Здесь что-то слишком теоретическое, мертвое и гадательное. Но во всех деталях партии еще не уяснил и потому нигде себя не фиксирую.

Вполне осведомленным по данному вопросу и убежденным с.-д. из нас был лишь один В. Я.

20—III

Вчера, 19-го было учредительное собрание клуба «Рабочий». Оглашен был устав, произведены выборы членов правления, ревизионной комиссии, кандидатов... Неоднократно обращались с призывом жертвовать книги. К сегодняшнему утру уже было получено 4 письма с приглашением прийти за книгами. В ближайшие дни будет обставлено здание и, бог даст, через неделю-другую клуб откроется. В первый день записалось не более ста членов, многие пришли без копейки и обещали записаться при первой же возможности. На собрании присутствовало более 600 человек — исключительно рабочих. Факт отрадный и знаменательный. Сочувствие живейшее. Вот где раскрывается воочию, что тьма наша и невежество были созданы силою, а не естественно вытекали из косной природы русского человека. Отношение сердечное, внимательное. Настроение торжественное, почти благоговейное.

Многие еще не понимают, но уже вещим сердцем чуют, что в этом клубе можно будет отдохнуть по-настоящему.

Радость большая, светлая, всеобщая.

21—III

Все окончательно выбиты из колеи. Работать систематически, спокойно — решительно нет возможности. Всюду собрания, советы, организация разрозненных сил. Все спешно сплачивается; одни сознательно, видя в этом единственную опору еще неотвердевшему новому строю; другие инстинктивно увлеченные самим процессом организации, находя радость в самой близости, разрешая и утоляя ненасытную, никогда неумирающую жажду соединения. Объединяются рабочие, объединяются крестьяне, ученики, педагоги, интеллигенция, фабриканты, служащие, торговцы... Всех увлекла мечта о нравственности или широкой выгоде организованности. У каждого проявилась какая-то заботливость . . .

. . . . . .

. . . В отдельных местах фабрикуется погромная литература, держатся еще приспешники разбитого режима, пытаются что-то сделать. Но уж все напрасно. Вспоминается Некрасов, говоривший о русском народе, что он:

Вынесет все, и свободную, ясную,
грудью дорогу проложит себе...

Вот и проложил... Только жаль, что ты, заступник народный, не увидел, не дожил до этой прекрасной поры...

22—III

Открыла свою работу культурно-просветительная комиссия при Революционном комитете.

В состав комиссии вошли представители всех к-просв. местных обществ. С Вечерних курсов неофициально был делегирован я (педагогического совета еще не было). Задачи комиссии: 1) устройство бесед и лекций с рабочими и крестьянами; 2) реорганизация местных библиотек; 3) устройство книжного склада; 4) устройство вечерних классов для взрослых; 5) устройство народного университета.

Приходит предложение использовать казацких лошадей для поездок по волостям, распутица, конечно, сильно вредит, но возможно сообщение верховое.

Отовсюду поступает просьба прислать лектора, и потому комиссия организует кружок пропагандистов и лекторов.

Средства от Революционного комитета.

Через два дня, 25-го, устраиваем 5 бесед на тему: «Учредительное собрание и подготовка к нему». На страстной и пасхальной неделях для этой же цели будут использованы учебные заведения. Объединившиеся ученики средних школ предлагают свою работу в качестве пропагандистов. Если будет ощущаться недостаток в лекторах — возможно, что они будут приглашены.

23—III

Состоялось собрание правления клуба «Рабочий». В первую очередь были назначены выборы членов президиума. Затем обсуждались вопросы: о здании, об изыскании средств, о ближайших практических шагах, о библиотеке и проч.

Присутствовали, конечно, не только члены правления. Подавляющее большинство собравшихся — рабочие. Страсть к организации охватила всех и вся. Получается даже некоторая несорганизованность от самой этой страсти к организации. Например, комиссия по внешкольному образованию, объединив под своим флагом представителей всех местных культурно-просветительных обществ, решила в ближайший день собрать общее собрание пропагандистов, не имея совершенно понятия о том, что в городе существует «Комиссия военно-технической помощи увечным воинам». Об этой комиссии никто до сих пор ничего не слыхал, и вдруг появляется в местной газете приглашение всех пропагандистов на общее собрание от имени этой комиссии. Цель, конечно, прекрасная, но создается какое распыление, по одному и тому же делу! В результате рабочие и крестьяне совершенно недоумевают — куда им обратиться за лектором, кого по-

просить. Нет координирования. Все стараются устроить что-нибудь «с в о е», ординарное и потому организация превращается в дезорганизацию.

24—III

Меня изумляет и раздражает масса ненужных слов, которые извергают подчас очень умные и заслуженные работники. У революции есть одно больное место: она страшно приучает болтать; родит, как кролик, всевозможных пропагандистов, защитников, толкователей. С кафедры эти ораторы умудряются иногда толковать по часу и по два без перерыва. Говорят без умолку, никем не останавливаемые, никого не опровергающие, никому не отвечающие и с первого раза вам может показаться, что это все люди широко-осведомленные, «з н а ю щ и е», убежденные. Но попробуйте вы с ними потолковать в частной беседе, когда вы имеете возможность обрывать на половине их пышную речь и потребовать разъяснений и доказательств, попробуйте отобрать у них точные сведения, попробуйте проникнуться духом убежденности и веры в дело, попросите фактов, попросите смысла и краткости, попросите всего этого — и вы поразитесь их скудостью, возмутитесь их доверчивостью, оскорбитесь их снисходительностью и спросите только себя:

«Боже мой! И как только хватает у человека смелости учить других — учить, когда сам ровнехонько ничего не знает, много не понимает, а главное — ничто и никого искренно не любит и не уважает».

25—III

Сегодня в разных местах состоялись беседы на тему: «Учредительное собрание и подготовка к нему».

Одну из бесед вел я. Надо сознаться, что предприятие слишком смелое и рискованное. Проговорить почти два часа на совершенно новую, мало продуманную и мало знакомую тему — это такого сорта явление, которое может быть вызвано только крайнею нуждой. Оно так и получается. Зна-

комить население, передать хотя бы то немногое, что мы знаем — дело необходимое. А крупных сил, осведомленных, подготовленных лекторов — нет и потому приходится выступать нам. В сущности дело ужасно рискованное. Ведь каждую минуту можно ждать какого-либо ошеломляющего вопроса, могут попросить объяснения фактов... А кому же хочется всенародно оскандалиться. Но, однако же, надо сознаться, что робости нет и следа. В общих чертах все, конечно, знакомо, а выпутаться от частного к общему — дело нетрудное, особенно если иметь известного рода храбрость, апломб и настойчивость. Потому и берусь за любой вопрос. Получается иногда так, что перед самой лекцией только-только успеешь прочитать какую-нибудь брошюрку и трактуешь ее, как свое давнее убеждение.

Что ему книжка последняя скажет,
То ему на сердце сверху и ляжет.

Вспоминаются эти позорящие слова, за которые, бывало, презирал героя, к которому они относились. А теперь видишь, что в конечную минуту приходится и на брошюрке строить свою веру. А иногда и брошюрки-то порядочной не найдешь (новых здесь еще до сих пор не получили. Нужда страшная. Отовсюду вопль: дайте книгу. А книги нет...). В таком случае довольствуешься какой-нибудь случайной заметкой и дальнейшее изложение идет уж как бог на душу положит. И как мало надо рабочему. Самому мне кажется, что лекция проходит непоследовательно, неинтересно, а после лекции окружат и просят: «устройте поскорее еще, очень хорошо, очень понятно, а то мы ведь ничего не знаем». Это последнее только и успокаивает. В самом деле, — ведь мы-то что-нибудь да знаем, а они — они решительно ничего не знают. Им азбуку политическую приходится объяснять. Вот почему мы смелы и решительны, а притом и правы.

26—III

Почетное звание «общественного работника» удесятеряет силы, безмерно увеличивает жажду настоящей, положительной работы, обязывает быть в высшей степени осторож-

ным, рассудительным и строгим, приучает к сознательности, личному самосуду и личной самооценке. До сих пор я как-то мало верил в свои силы, не представлял себя на общественном поприще, сомневался, колебался, не допускал возможности выработать в себе что-либо путное и твердое. Волна выбросила меня из болота, заставила призадуматься. А после раздумья, после краткого колебания и сомнения — расправились крылья, бог знает откуда появились свежие силы и я полетел... И вдруг пришло то самое, чего напрасно ждал так долго я в смрадном болоте сомнений и колебаний. Пришла бодрость и неугомонная жажда работы. В этой новой школе вырабатываются принципы, закаляется воля, создается план системы действий. Теперь одновременно приходится работать во многих организациях, по многим вопросам, до которых прежде так страшно и жутко было касаться: тут и библиотечное дело, и курсы, и просветительная комиссия, и Общество грамотности, и рабочий клуб, и кружок пропагандистов. Особенно по сердцу именно эта последняя работа — работа пропагандистская. Я впервые увидел, что могу стройно, уверенно, а порою и жарко передавать свои мысли, верования и надежды. Я увидел многих на этом поприще — неуверенными, неподготовленными, слабыми... А их авторитет непоколебим... И разом явилось сознание, что в новой области каждому необходимо начинать с азов, что стыдиться тут нечего, что больше надо верить, чем сомневаться и проч. и проч. Эти простые мысли как-то прежде не приходили на ум. А теперь они меня подняли, утвердили, дали жизнь...

Теперь и то бесконечно дорогое, то единое и светлое в жизни — литературное творчество — теперь и оно как-то стало ближе, стало понятнее, осуществимее, достижимее... Я, наконец, поверил в себя... Эта великая революция и во мне создала психологический перелом. Она зажгла передо мною новое солнце, она дала мне свободные, могучие крылья... Многого еще не знаю, ко многому только стремлюсь, но это уж не убивает меня, не заставляет опускать беспомощно руки. Я вижу, что и многие другие так же беспомощны, как я, что они так же горят одним лишь желанием, при скудости содержания... горят — и что-то совершают... Я с ними... Я тоже что-то делаю, я тоже

кому-то помогаю, я тоже облегчаю движение чему-то огромному и светлому. Радость такого сознания безмерна и неповторяема.

27—III

Организация бесед с рабочими как-то сама собою сконцентрировалась в моих руках. Завтра устраиваем новые 5 бесед, это уж будет в итоге 20 бесед... Правда, особенного труда здесь нет. Организационная работа легка, и только плохо одно: никто не берется активно работать для самой техники организации: приискания помещений, распространения билетов, огласки, осведомления лекторов и проч. С этим заботы много.

При кружке пропагандистов необходима будет для подобной работы комиссия. Особенно, когда организуются беседы по волостям. Распутица и недостаток средств передвижения пока не позволяют нам наладить это дело. Но уже на Пасхе, вероятно, будет устроен целый ряд подобных собеседований и в ближайшем крестьянском округе.

Правда беседы похожи больше на лекции; вопросы редки и случайны, но польза несомненная, хотя бы по одному тому, что после собеседования вызывают на споры между собою. Многие, боясь показаться смешными — молчат, не рискуют перед собранием выразить свои сомнения и просить объяснения на непонятные места. Зато между собою потом перетолковывают и вкось и вкривь. Явление конечно, печальное, но так уж мы воспитаны, так подготовлены. Есть и храбрецы — взбираются и говорят, но это большей частью говоруны и только. Их занимает лишь самый процесс говорения, самый факт выступления и любования собой. У них обычно нет вопросов: они все знают и все понимают, они спешат сообщить свое. А это свое поражает ненужностью, убожеством и фальшью. Они страшно любят «припоминать к слову» иностранные государства, их конституции, их статистическую отчетность последних дней... Откуда берут они эти данные — одному богу известно, но врут обычно без всякого милосердия, путают и запутывают неразрешимо, уверяют поразительно смело. В этой смелости сквозит страшная беспомощность, огромное

желание знать и в то же время полное, абсолютнейшее незнание и непонимание самых простых вещей. Это не только у рабочих, но и у большинства выступающей интеллигенции.

30—III

В местном совете рабочих депутатов один за другим раскрываются провокаторы. Большей частью это лица, пользовавшиеся огромной популярностью среди рабочих, первоклассные организаторы, хорошие работники.

Что их толкнуло на гнусное дело?

Неужели эта мизерная десятирублевая подачка? Едва ли она одна смогла бы завербовать в свои ряды таких людей. Тут кроется что-то другое. В большинстве это люди так или иначе пострадавшие за старые политические грехи. Вполне допустимо, что страх дальнейшей волокиты, всевозможных надзоров, ссылок, заключений и прочей радости — все это заставило их круто повернуть свою жизнь в другую сторону. Конечно служили они с отвращением, с мукой, со страхом и самобичеванием. Такое дело совершить нелегко. Потом втягивались, черствели, выполняли механически свое страшное дело предательства. Немного среди них найдется идейных работников, убежденных провокаторов. Большинство трагические жертвы старого строя. А некоторые ведь служили отчаянно — за месяц предавали по 8 — 10 человек. И что они получали за это! 15 рублей, собачью кличку и характеристику приблизительно в таком виде: «Лямка, 15 р., глуп, исправен, жаден, просит прибавки». Вот и все.

Теперь разъединяют ближайших друзей; отцу родному перестанешь верить. Вчера сидели вместе, обсуждали, горячились, а сегодня — сегодня его уж отправляют куда следует. Есть у меня два типа на подозрении, правда единственно на основании психологических наблюдений — интересно, оправдаются ли эти мои предположения.

31—III

По осмотре библиотек оказалось, что никто о них не заботился, что перестраивать надо все со дна до крышки. Решено у города просить 10 тысяч на реорганизацию. В ближайшую очередь разрешается вопрос о детской библиотеке, о летнем детском отдыхе, о книжном складе...

Комиссия по внешкольному образованию повела дело довольно широко и быстро. В составе нашлось 5 — 6 активных работников и этого оказалось достаточно, чтобы разрешить много сложных вопросов. Что же было бы, если-б вся интеллигенция принялась за работу.

1—IV

На Пасху наметился целый ряд бесед и в городе и в деревне. 7 — 8 товарищей едут по волостям. Теперь, когда пишу, они уже возвратились. Результаты самые разнообразные. Одному с трудом удалось собрать 30 — 40 человек, у другого в одно село собралось свыше 200 человек.

Старики жалеют батюшку-царя, женщины просят побольше хлеба. Знают, конечно, весьма мало, а из того, что знают — много в извращенном виде. Понимают туго. После одной беседы товарищи сообщили: «Вот оно и хорошо. Мы на эту самую собранью пошлем Ивана Прокофьича. Он дело наше знает хорошо, глядишь, что и выйдет...».

Товарищ уверил, что от каждой деревни или даже города посылать представителя не придется, слишком, дескать, много их будет на собрании. Весть принята была с сожалением. Волнует и успокаивает в то же время дело с землей.

Все они твердо верят, что земли прибавится, что дело это пустяковое и решить его можно «в полчаса»; пошел, облюбовал и запахивай, думать долго нечего.

Пока что темно и безотрадно.

Неожиданности, конечно, нет, а печаль все-таки остается.

2—9—IV

За пасхальную неделю каких-либо особых фактов и осложнений не было. Так же велись беседы, так же устраивались собрания и совещания. Между прочим, Комиссией по внешкольному образованию решено открыть книжный склад, на что Городское самоуправление должно отпустить 35 тысяч рублей.

В ближайшие дни реорганизуется на демократических началах Городская управа. Коренной ломки, как видно, не предполагается. Старый состав будет пополнен представителями различных демократических групп.

Устроен был диспут «О войне». Чистый сбор в пользу клуба «Р а б о ч и й». Собралось свыше 500 человек. Прения носили горячий характер. Мне пришлось выступить докладчиком. Даже не знаю с чего начать, когда подхожу к этому знаменательнейшему и памятнейшему дню моей жизни.

На заре общественной работы мне пришлось вынести тяжкое испытание.

Я до сих пор не соберусь с мыслями. Винить тут, пожалуй, и можно было бы кой-кого, но чистосердечно разбираясь, анализируя и сравнивая, вижу, что виной явилась все та же наша неподготовленность, та же растерянность и слабость при огромной жажде.

Расскажу сначала про самый факт.

В вопросе об отношении к войне, само собою разумеется, мне пришлось наткнуться и на вопрос о 8-часовом рабочем дне. Только что накануне была у меня беседа в другом месте на ту же тему. Признаться, за последние дни газеты только случайно попадали мне в руки. А теперь время такое, что пропустить и один день опасно. Я как раз на этом самом и попался. Было своевременно сообщение:

«К рабочим Путиловского завода подошли солдаты и требовали возобновления работ. . .».

Оказывается, что после было опровержение от лица поименованного в сообщении полка, опровержение, гласившее о вымышленности этого первоначального сообщения. Ничего

не подозревая и мысля принципиально за 8-часовой рабочий день даже в условиях данного момента (поскольку он сводится лишь к повышению заработной платы, но не уменьшению вырабатываемых товаров и проч.), я привел вышеуказанный факт, желая оттенить настроение солдат и их взгляд на сокращение р а б о ч е г о д н я.

И, господи боже ты мой, что тут поднялось: — Провокация! — закричали в углу. — Долой, долой! — закричали в стороне. — Долой! — Я спокойно стоял и ждал конца; волнения большого не было; я был только ошеломлен неожиданностью (после, между прочим, мне даже заметили о проявленном самообладании, хотя тут чего-либо сознательно-сдерживающего с моей стороны не было, я просто застыл). Крики не умолкали.

— Товарищи, я прошу докончить, я...

Но толпа заревела пуще прежнего. Загремел колокол председателя. Все притихли. Он уличил толпу в насилии над правом оратора, высказывающего «свой личный взгляд», и просил дать слово.

— Просим, просим, — закричали со всех сторон. Мне сделалось смешно и грустно от этого внезапного поворота. После эта же толпа хлопала мне — тому, кого только что хотела прогнать.

Потрясение жестокое. Мои разъяснения не дали желанного результата и у большинства осталось впечатление, что я против 8-часового дня. А на улице, какая-то озорная бабенка, собрав товарок, кричала:

— Он богач, он сам купец — я знаю. А фабриканты дали ему взятку, вот он за них и говорит... — После таких неожиданных выводов становится тошно. А все-таки на пользу. Нет сомнения, что авторитетность поколеблена (а я знаю, что кое-какая авторитетность была).

Каждое выступление теперь будет встречаться недоверчиво. Вместо благодарности теперь можно ждать только шиканья и освиста. Может-быть, я и преувеличиваю, но, учитывая всю быстроту распространения подобных вестей, можно думать, что извращенное толкование распространится широко. Обидно и скорбно. А теперь тем более. Насколько знаю у фабрикантов было собрание, и вопрос о 8-часовой работе вырешен положительно. Отрезаны, так сказать, пути

к выяснению правды. Предполагался еще диспут о 8-часовой работе.

Это неожиданное событие заставило меня призадуматься еще больше над той громадной ответственностью, которую мы несем за каждое, с трибуны высказанное, слово. Взвешивать приходится не мысль, не фразу, а именно каждое слово. Если в таком котле повариться два-три года — можно выйти хорошим общественным работником и честным человеком. Все время надо быть на-чеку, ко всему надо быть готовым, все знать, во всем разбираться быстро и правильно; самая ничтожная ошибка уже грозит большими последствиями.

Теперь такая масса всяческих вопросов, что голова кругом идет. Отовсюду вопросы. Надо быть в курсе партийных работ, помимо знания программ и разногласий; надо быть готовым на массу вопросов по поводу предстоящего Учредительного собрания; знать профессиональные союзы, историю революций, революционную литературу, постановку библиотек, аграрный, рабочий и крестьянский вопросы, городское и земское самоуправление, историю взаимоотношения держав, формы государственного строя... А все ведь это новое, мало или совсем незнакомое. Начинать приходится с азов, а перед тобой многочисленная аудитория со всем ужасом темноты, со всей неожиданностью вопросов. Котел очищающий, не спорю; закалка богатая, страха и робости нет, но порою стыдно за это самое бесстрашие и решимость. Ночью познакомишься с историей профессионального движения, а днем уж надо излагать и объяснять его другим. И когда сыплются благодарности, сочувствие и довольство — невольно подымается вопрос: «а что, и все-то наше общественное строительство не так ли случайно оно росло и создавалось? Не в этом ли, не в нашей ли пассивности причины российской тьмы?» Ведь наша политическая подготовленность худшего желать не оставляет. Мы застигнуты врасплох. И не диво, что при таком руководительстве есть и будет так много греха.

ТЕРРОР

14—IV

Совершаются ужасные дела. Каждую ночь вырезают несколько человек. Резня началась еще две-три недели назад. Тогда были одиночные случаи. Верст за 30 отсюда (Шуя) также была вырезана семья. Тогда же явилось предположение, что все эти ужасы — дело сорганизованной шайки, отдельные звенья в системе черных дел. Потом как будто замерло. Целая неделя прошла спокойно. И вдруг поднялась ужасная резня. Слухи, конечно, преувеличили дело до небывалых размеров, но фактом остается, что за две ночи было вырезано больше 10 человек. Одну девушку зарезали средь бела дня. Милиционер был зарезан в людном квартале — у станции. Вся резня — случайно или неслучайно — производится в рабочей среде. Не тронут ни один фабрикант, торговец, интеллигент... Грабежи редки, видно, что главное не в них. Некоторые случаи заставляют предполагать месть, некоторые грабеж, но общее мнение все-таки склоняется к тому, что здесь система, организация, большая черная работа. Всех ошеломило известие об открытой шайке. Поймали мальчишку лет 17, хотели растерзать на месте, но потом перепугали пыткой. Наглядно показали, как будут ему отрезать одну часть за другой, как станут мучить. Толпа было страшно возбуждена, ревела, и не пожалели красок на картину страшной пытки. Мальчишка осатанел от ужаса и выдал соучастников «товарищей»... Огромная шайка скрывалась в подземелье, с массою тайных ходов, где было проведено и электричество и телефон... Катакомбы рылись много лет, земля принадлежит кулаку-староверу, занимающемуся, между прочим, скупкою краденых вещей. Старика, сына и зятя увели под конвоем. Многих отыскали в сене, в печах, в гробах, которые стояли в подземелье; дом хотели поджечь, но страшный ветер заставил остановиться. В подземелье входить еще робеют, но думают, что там осталась значительная часть шайки. Есть мысль пустить туда удушливые газы. Переловлено до 80 человек. Есть слух, что на выручку им уже торопилось 200 человек, но они были

своевременно перехвачены солдатами. Город замер в страшном ужасе. Всюду и плачут и трепещут. Не спят ночи — сидят и ждут. По улицам ходят патрули; жители на сходах порешили от себя каждую ночь ставить еще несколько человек. Ужас невообразимый.

2—V

Напряжение достигло апогея. Все страшно измучились: не спят по ночам, сидят с гирями, с ножами, с кочергами. Трепещут и ждут злодеев. Каждый шорох вызывает дрожь. Детишки плачут, старшие сидят с возбужденными лицами, с горящими глазами. Настроение подавленное. Каждую ночь систематически режется несколько человек. Вчера праздновали 1 Мая. Это странное торжество: горе и опасение чередовались с радостью, словно солнце выглядывало из-за туч. Предполагалось итти в лес, в поле.... Народ колебался — и хотелось порадоваться на свободе, и боялись оставить свои квартиры. К счастью отвратительная погода разрешила все колебания в одну сторону. Шел снег, дул ветер, ударил крупный град. Народ стоял под красными знаменами и слушал речи. Это был сплошной гимн Первенцу-Маю. Потом зароптали, словно волны заходили, загудели сомнения. Сперва тихо, потом все явственней, все громче стали требовать, чтобы ораторы говорили о страшной резне: кто повинен, кто подкупает, кому все это нужно, если уж ясно, что режут не из-за грабежа. И народное негодование мигом обратилось на тех негодяев-торговцев, которые устроили в 1905 г. еврейский погром, которые убили тогда революцию, а теперь, как пауки, впились в население. Стали выкрикивать отдельные фамилии... Но пока на этом и кончилось. Толпа ушла с флагами, с песнями.

Поздним вечером на площади собрались снова, требовали ареста крупных торговцев, известных негодяев. Была вызвана рота солдат и тузов захватили. У рабочего поотлегло от сердце. Теперь он верит, что резня прекратится, потому что некому будет платить за отрезанную голову. Так кончилось великое торжество 1 Мая.

Жгучие вопросы

Этих вопросов так много, что ни один из них не продумывается до дна, ни к одному нет спокойного, объективного отношения. На сердце новая чехарда, только не чехарда министерская, а чехарда вопросов современности. Война, Временное правительство, Учредительное собрание, рабочий, крестьянский, аграрный вопросы — вот неполный перечень мучительных вопросов, скачущих друг через друга. Положение чем далее — тем запутанней. Думать уж некогда. Доказывать бесполезно. Как расплавленная лава — мчатся они один за другим, ударяются в рыхлую стену возбужденного народа, клокочут, меж спутанных рядов, ищут выхода, сжигают мучительным страстным дыханием. Вся эта масса трепетных вопросов промчалась мгновенно, подобная урагану; захватило дух неготовому путнику, закружило его, как былинку в безудержном, всесильном вихре. Вопросы остаются больше неразрешенными, особенно у партийных работников, приносящих в жертву своей партийной любви всю неотразимую ясность здравого смысла. Лозунги пользуются огромным почетом; лозунги кратки, лозунги смелы; лозунги приближают царство социализма. Обстановка момента совершенно не учитывается; многие ценные соображения отбрасываются, как плевелы, как камни преткновения. Тому, кто пытается разъяснить, что с обстановкой исторического момента считаться необходимо; что лозунг сам по себе лишь идея, что в этой идее нужны соответственные по глубине и смыслу конкретные формы — то тот, кто это осмелится произносить, клеймится позорным именем буржуа. Наша интеллигенция оказалась не только не подготовленной, но и робкой. У ней нехватает силы громко заявить, что путь голых лозунгов — опасный, трагически-испытанный путь к бездне. Отдельные голоса лучших ее представителей тонут в море протестующих голосов, в которых слышится больше страданья и жалобы, полной истины, чем силы убежденности. На лозунгах останавливаются единственно потому, что они поразительно просты. Они просты, как всякая мечта, как всякое благородное желание. Но от мечты к делу путь лежит

через тернии; он полон сомнений и мучительного сознания невозможности быстро приблизить желанное счастье. Лозунг — это принцип, во имя которого ведется борьба. Лозунг — чтит и уважает каждый, кому дорога народная свобода и народное счастье. И не самые лозунги порождают борьбу, а та лишь форма, в которой должны они осуществится. Эта форма обусловливается различной тактикой, а разница тактики и делит единомышленных борцов на враждебные лагери. Интеллигенция должна собрать всю свою духовную мощь, напрячь до крайней степени работу мысли, выступить смело, твердо, определенно. В ее руках сосредоточилась сила знания, в ее руках вся многовековая работа человеческой мысли. К этому алтарю пробивались только отдельные счастливцы из темных рабочих масс. Им некогда было думать о небе — за спиною стоял мучительный голод и пригибал свободную мысль к земному уделу, к заботе о хлебе насущном. В руках интеллигенции весь опыт всемирной борьбы угнетенных против своих угнетателей; в ее руках все протоколы бедствий, приходивших на смену благородной мечте, когда мечта эта сбивалась с пути, ошибалась земною ошибкой — в ее руках вся эта сила и весь этот ужас непоправимых земных ошибок, источников сугубого народного горя. Интеллигенция молчит. Она или прячется пугливо от позорного ярлыка «буржуя», или робко поддакивает возбужденному народному гулу. Мы знаем, отчего гудит народ: он перестрадался, у него терпенье порвалось, как давно рыдавшая струна; он уже много раз касался светлой мечты и много раз темные силы сталкивали его обратно в черную бездну невежества и горя. Теперь он снова вырвался из бездны и снова боится сорваться на дно. Ему страшно. Его терзают воспоминания и — как уже не понять его страстное желание единым ударом сокрушить вековое зло, в счастливый миг утвердиться на новой грани — на грани пропасти. Как не понять его жгучих лозунгов, его слез, его негодований. Он идет напролом, терять и жалеть ему нечего. В прошлом одно только горе, одно мученье. Но борьба за лозунги требует большой осмотрительности, большого такта, большого уменья. Ослепленный нахлынувшим счастьем, разъяренный ненавистью к старому злу, народ не может спокойно принимать этот крутой перелом. Он, как пущенный

шар, мчится по склону горы, и куда его вынесет тайная сила — в бездну или на гордый хребет — кто нам скажет? Самые жгучие лозунги и кличи зовут к свержению Временного правительства, к немедленному прекращению войны, бойкотированию государственного займа, к немедленному захвату фабрик и земель у крупных собственников. Большевики, такие честные и пламенные борцы, увидев, что не с кем бороться, стали сами создавать и придумывать врага. Это они придумали назвать наше Временное правительство врагом России; это они выпалили целую серию страстных, безумных призывов. Ну, какой же враг России Временное правительство? Ведь прежде-то всего оно «временное», а затем, оно контролируется в своих поступках Советом рабочих и солдатских депутатов; затем не в его компетенции производить коренную ломку России в деле внутреннего распорядка; затем оно—коллегия честных, умных и дальновидных работников... Да и мало ли можно подобрать этих «затем», чтобы окончательно парализовать недоверие к нему у каждого спокойномыслящего гражданина? Пусть у Терещенко—60 милл. собственных денег. Пусть Милюков до сих пор мечтает о Дарданеллах; пусть они все вместе в первый миг революции и не мечтали о демократической республике; пусть один из них (Милюков) скомпрометировал себя какою-то странной, до сих пор не разъясненной депешей о задержке в Англии эмигрантов, едущих в Россию; пусть они цензовики, но ведь контроль теперь усилен; но ведь «диктатура пролетариата» вещь немыслимая, потому что 175 миллионов не захотят добровольно подчиниться 5 миллионам пролетариата; никто ведь не назовет наших министров своекорыстными, лукавыми политиками; никто ведь не посмеет заподозреть их в честности и прямоте желаний. Никто ведь не боится, да и не думает, что они переиспользуют свои полномочия, что они поведут противореволюционную пропаганду, что они посягнут на народную свободу... Так против чего же мы будем бороться?

Так за что же мы будем смещать наше временное министерство, так много и честно потрудившееся в самые трудные первые дни? Положим, еще трудно сказать, которые дни тяжелее — те ли первые дни дружного разрушения, или наши дни разъединенного нескладного созидания.

Тогда требовался клич и воля к удару, теперь требуется спокойная, глубокая мудрая мысль и воля к делу. Их хватило и на то и на другое, а мы оказались годными лишь на мгновенный взрыв. Необходимость работы стоит перед нами или бесформенным ни к чему необязывающим желанием, или понимается как задача завтрашнего дня.

Мы все еще кипим неугомонной жаждой разрушения, нам все еще нет силы и терпения взять топор и начать строить новое здание. На пепелище не проживешь, а мы еще этого путем не понимаем; мы еще копаемся в золе, бередим потухающие уголья, раздуваем похолодевший пепел, чтобы еще раз пережить огромную, задыхающуюся радость неутолимого пожара.

Вот источники запоздалой пламенности, вот те скрытые силы, которые толкают на безумный, ненужный клич. Борьба со Временным правительством, ненужная, опасная борьба. Она не имеет под собою данных, она обещает грошевую победу и неисчислимые бедствия от неизбежной тогда неурядицы и разрухи. Это борьба для борьбы, это самоудовлетворение беспокойных людей, приносящих в жертву своему удовлетворению счастье и будущность новой России.

ТРУДОВИКИ И БОЛЬШЕВИКИ

4—V

Инициативная группа трудовиков (2 чл.) созывала организационное собрание «во всех залах реального училища».

Докладчик об истории трудовой группы, В. К. А., был жалок; или он ничего не знает, или заробел не в меру. О платформе трудовой группы доложил тов. П о л ю ш к и н.

По окончании докладов — одного, безумно краткого, другого бессильно долгого, — выступили оппоненты-большевики. Цели их были явно обструкторские. Они решили говорить один за другим, затянуть собрание, утомить публику, заставить ее разойтись, не дав записаться в члены. Говорили жарко, безумно смело, определенно, прямолинейно. Они костили докладчиков на чем свет стоит; говорили не по

существу, едва не касаясь личности. Когда обструкция выявилась окончательно, было предложено ограничить время ораторов и прекратить запись. Но было уже поздно. Часть публики разбрелась, другая недоумевала.

Докладчики оправдывались, но большевики даже не сочли нужным выслушать возражения. Всею гурьбой человек 30 — 40 они шумно поднялись и покинули зал. В члены никто не записался. Собрание не удалось. Грустно было за то, что организаторы по своей вине провалили дело. Они совершенно не предусмотрели этой заурядной выходки. Кроме того они слабо знают свою платформу.

Примыкая по убеждениям к социалистам-революционерам, я был подавлен этой неудачей ближайших товарищей. До сих пор я еще не зафиксировал себя за партией, но теперь, уезжая беседовать по деревням, со спокойной душой беру мандат эс-эров.

16—VII

Надо уже говорить откровенно: до революции ничего-то мы не знали про политическую борьбу, ничего-то мы не понимали в политических лозунгах, потому что нельзя же считать политическим образованием нашу эрудицию, почерпнутую в «Русском Слове». И вот с первых дней, мы дело себе представляем весьма просто: свергли царя, поставили новых министров, ну и дело с концом.

Как будто черная сотня разбита, как будто у демократии с буржуазией одинаковые цели, как будто Англия и Франция нам истинные друзья, как будто спокойствие, а неуглубление революции, теперь главная цель текущего момента. Да тут еще надо присовокупить, что по старой привычке почитывали одно только «Русское Слово»... Из совокупности всех этих причин для нас безграмотных политически и вырисовывалась лишь одна дорога — тихого дожидательства, всяческого доверия и сладкой радости по случаю свержения царя Николая. Собственно, дальше свержения наша мысль не работала, остальное мы готовы были поручить устроить тем лицам, которые взяли главенство в первые дни революции.

— У нас есть Временное правительство,— заявлял в толпе Родзянко, тогда еще герой дня.

— Цензовое, — кричали в толпе...

— Да, цензовое, но...

И вот нас удивляло тогда это недоверие: да раз честный человек г. Милюков или Терещенко — да почему бы им и не доверить дело устроения России.

Мы тогда еще ничего не знали, мы тогда ничего не понимали. Да простит нам бог первоначальное неведение. Теперь, почти через пять месяцев постоянной напряженной работы, постоянных споров, бесед, чтений и лекций — теперь многие стали примечать свои первоначальные ошибки, стали сознаваться хотя бы перед самим собою в политической безграмотности и отрекаться от того, что по неведению исповедывали 3—4 месяца назад.

И нечего стыдиться, друзья; смело заявляйте о своем переломе, это только засвидетельствует ваше честное отношение к исповедуемой истине, вашу искренность и благородство.

Вы не могли остаться безучастным зрителем с первых же дней революции, вам хотелось дать и свою лепту на постройку огромного нового здания... Мы понимаем этот священный порыв, но ведь кроме порыва у вас не было совершенно никакого багажа. Вы рванулись к делу, движимые только благородным порывом. Теперь вы многое видели, многое слышали — неужели же и теперь вы остались все тем же близоруким, ощупью идущим добродетелем. Будьте откровенны прежде всего. Я смотрю на себя и поражаюсь той перемене, что совершилась за этот, главным образом, последний месяц. Как нарастал, как собрался этот перелом — я все еще не уясню себе окончательно, но ужасаюсь крайностям.

Два месяца назад я взял мандат и от местного оборонческого комитета эс-эров и поехал по деревням. Но вот совершилось наступление 18 июля. В те дни я был в Лежневе.

Помню, подбежал солдатик и заявляет, впопыхах:

— Товарищ, сегодня пришла весть, что у нас громадная победа. По этому случаю устраиваем благодарственный молебен. Скажите, пожалуйста, речь после молебна, чтобы поднять дух...

— Нет, — заявил я, — не могу. Радоваться тут не чему: мы не побили, нас не побили, — горе одинаковое, страданья одинаковые, для меня тут нет никакой радости...

Сказал я это как-то машинально, потому что до этого дня еще мало размышлял об Интернационале. Но, сказав, начал упорно думать. И увидел, что правда именно в этой стороне. Стал приглядываться к взаимоотношениям крестьян и пленных и увидел, что они совсем не враги, что кто-то жестоко нас обманул и умышленно натравил друг на друга. Я сделался в душе интернационалистом. И в соответствии с переломом изменил сущность своих бесед. Надо сказать, что успех и внимание к беседе остались такими же. Словом, что ни говори, только достаточно убежденно — со всем согласятся крестьяне, за все будут благодарить.

Я тогда еще ничего не знал о «левом крыле партии эсэров», так как во время работы по деревням газеты читал из пятого в десятое.

Когда приехал сюда и высказал свой взгляд на войну — местный оборонческий комитет просил меня выйти из состава партии, как несогласного с его основными положениями. Я ушел. Теперь встает задача организовать на месте комитет эс-эров интернационалистов.

18—VIII

Отколовшееся «левое крыло» не подает о себе вести.

У него нет своего органа.

Кто же им руководит, какова тактика вождей, какова сила.

Мы решительно ничего не знаем.

Я говорю «мы», потому что за этот последний месяц в местной эс-эровской организации произошел раскол. Оказалось много интернационалистов. И теперь перед нами задача: основать ли свою отдельную фракцию или работать совместно и только реорганизовать комитет. Дело в том, что травля партии на партию и фракции на фракцию достигла кульминационного пункта. Рабочий устает, растеривается, не знает куда преклонить голову, потому что «все

же социалисты». Или, вдаваясь в крайность, начинают презирать все иное, кроме своего. Необходима какая-то перестройка — не соглашательство, а уяснение бессмысленности дальнейшего раздора, имея перед лицом общего врага — надвигающуюся контр-революцию, которая заявила о себе открыто на Московском совещании. Весьма понятно, что первые дни мы поклонялись героизму Родзянко, «положившему голову на плаху», рисковавшему жизнью.

Мы даже удивлялись, почему не он назначен премьером.

Затем взошла звезда Керенского. Мы плакали от радости, мы слепо верили его беспредельной честности и государственной мудрости, памятуя жгучие речи в последней думе. И когда шаг за шагом, вглубь и вширь размахивалась революция, когда мы усвоили политическую азбуку, мы поняли, что Родзянко стоит на другом краю, что Керенского мало . . .

«Война до конца» . . . Мы готовы были тогда поддерживать даже этот преступный клич, мы тогда еще не знали, не понимали суровой всемирной подоплеки безжалостной резни, не подозревали в числе иных причин войны — наличности вековой классовой розни, сознательной тяги, выгодной одним, губительной другим. Когда мне стали ясны скрытые пружины мировой трагедии, когда я с ужасом оглянулся на только что пройденный путь, полный жестоких преступных ошибок — я бросился бежать без оглядки и примчался к крайнему левому берегу.

Я все еще не знаю кто я. Только ли с.-р. интернационалист, или максималист.

У меня нет никаких руководств, я ничего не знаю об органах, потому что и «Трудовую Республику» закрыли. Мои письма пропадают даром. Сегодня послал М. Горькому, прося навести возможные справки. Я кидаюсь во все стороны, ловлю слухи, вырезаю и записываю, что только можно и все-таки не имею перед собой общего ясного плана работы.

И всегда завидую большевикам, которые имеют руководящий орган.

Местный С. Р. и С. Д. кооптировал меня в Исполнительный комитет. Интернационалистские взгляды позволяют мне вести пропагандистскую работу в контакте с большевиками. Местный эс-эровский комитет с Советом в раздоре.

И вот теперь, организуя максималистскую фракцию — партию, мы стоим на распутьи.

Теперь, когда назрела настоятельная необходимость в единении, когда дальнейшая вражда может привести к погибели и тех и других — есть ли смысл нам откалываться целиком, в свою отдельную независимую партию.

Но, с другой стороны, как же можем мы, состоя в партии, не подчиниться ее решениям, как можем агитировать в духе ее оборонческих и примиренческих постановлений.

Расколовшись, мы должны разойтись — и, может-быть, врагами.

Оставшись вместе, мы должны мириться с ежедневными компромиссами, должны покорно выполнять волю большинства и в открытых собраниях высказывать свои заветные мысли только как «л и ч н ы й в з г л я д».

Мы должны, не внося резкого разделения по линии максимализма и минимализма, строго ограничить свои интернационалистические убеждения от всяких поползновений со стороны. Здесь мы будем непримиримы. Мы понимаем, что создавая «п а р т и ю в п а р т и и» — тем самым как бы дезорганизуем общепартийное дело, но, выражаясь словами «декларации левых» —

> мы признаем себя не вправе дольше пассивно подчиняться указаниям руководящего большинства, по глубокому убеждению нашему, ведущего п а р т и ю к падению...

Поэтому мы во имя идеи единства не затворяемся наглухо от инакомыслящих товарищей; мы будем внимательны к их доводам, мы будем пытаться находить единую равнодействующую, но мы в то же время и не можем забыть, что водительство партийной жизни находится в руках «группы, которая во время войны стояла вне Интернационала».

Поэтому никакие постановления съездов не могут служить нам инструкцией, поскольку дело идет о принципиальной неприемлемости. Мы предложим двуединую организацию, где единодушные постановления будут регулироваться и единой тактикой, равно как и постановления компромиссные, но где принципиальные расхождения будут выливаться в неизбежные, естественные формы. В случае коренного расхождения, мы выступаем, как с.-р. интернационалисты.

имея руководством лишь общую линию поведения своей группы в целом. Мы организуемся подобно тому, как решено меньшевиками-интернационалистами на частных совещаниях в Москве 6 и 8 августа организовать свою особую группу:

1. Внутри меньшевистской партии организовать группу меньшевиков-интернационалистов.
2. . . . . : :
3. Группа меньшевиков-интернационалистов имеет целью проводить, как внутри меньшевистской организации, так и в рабочей среде, идеи и лозунги интернационализма.
4. При работе в административных и беспартийных учреждениях (С. Р., С. и К. Д., Думы и т. д.) группа стремится самостоятельно проводить свою платформу.

(«Соц.-Дем.» № 133, 15 августа).

Именно так поступаем и мы.

«Не порывая организационной связи с партией, определенно и твердо отграничиваемся от политики, усвоенной руководящим большинством... сохраняя за собою в дальнейшем полную свободу выступлений в духе указанных в декларации положений».

(Декл. л. эс-эр., «Новая Жизнь», № 72).

Мы предложим местной организации вступить на этот, единственно приемлемый для нас путь совместной работы. Пусть оргнизация берет на себя смелость ответить перед Центральным комитетом партии, который заявил, что

все организации, подписавшиеся под воззванием «организационного бюро левого крыла партии эс-эр.» в № 85 Петерб. «Земли и Воли» этим самым поставили себя вне партии...

А потому и рекомендуется:

Всем верным сынам партии немедленно выступить из них.

Короче говоря, ЦК отлучил нас от партии, а тем самым, разумеется, освободил нас и от подчинения общепартийным постановлениям и резолюциям.

(Русское Слово, 13 июля, № 158).

Только он не указал форм возможного соприкосновения с нами ортодоксальных эс-эров.

Исключение Центральным комитетом отнюдь, конечно, не заставляет нас перестать быть соц.-революционерами. Мы только перестали быть ортодоксами, потому что знамения времени толкают на иной путь.

Мы считаем ЦК — группой теоретиков, далеко стоящих от масс и пропускающих мимо всю огромную совокупность жизненных фактов.

Исходя из того основного положения, что в соответствии с изменением условий жизни широких масс должна меняться программа и тактика любой партии — мы констатируем факт пагубного омертвения группы ЦК, застывшего в неизменных формах, и целиком принимаем утверждение «декларации левых эс-эров.», что

> Усвоенная руководящими кругами партии политика отталкивает от партии наиболее сознательную часть трудовых масс, до-нельзя затрудняет партийную работу в войсках, на заводах и в революционной деревне и грозит привести к перемещению центра опоры партии на слои населения, по классовому характеру своему или уровню сознательности, не могущие быть действительной поддержкой политике истинного революционного социализма.

Время гонит вперед и вынуждает возможно чаще пересматривать даже самые поздние резолюции.

Здесь мы с удовлетворением отмечаем большую чуткость и политическую честность одного из вождей большевизма, Ю. Каменева, смело заявившего о переломе личного взгляда, по вопросу о Стокгольмской конференции — перелома вызванного переменою объективных условий политической конъюнктуры. И здесь же с горечью мы отмечаем недостойное поведение Е. Брешковской, горячо аплодировавшей на Московском совещании заявлению контрреволюционера генерала Каледина, что «войну следует продолжать до победного конца», равно как и дикий выкрик Керенского:

> Будь проклят тот, кто скажет, чтобы мы прекратили бой сейчас.
>
> («Изв. П. С. Р. Д.» № 145).

Все учащающиеся случаи объединения эс-эров с интернационалистами на деле, а не на словах, только утверждают

нас во мнении, что ответственные партийные руководители взяли неправильный курс, как во внешней, так и во внутренней политике, расшатывая тем самым устои партии и сводя на-нет ее былые боевые лозунги.

В подкрепление своего заявления о нарастающем партийном переломе приводим два факта из недавнего прошлого:

> 1) Рабочие трамвайного Золоторожского парка в Москве, собравшись на соединенное собрание эс-эр. и большевиков . . . . . вынесли резолюцию протеста против смертной казни, порицая Керенского за то, что он «благословляет и одобряет эту позорную бойню — смертную казнь...». Вынесли требование прекращения травли против вождей революции — Ленина, Чернова, Каменева и др.
>
> Требовали разгона Государственной думы и Государственного совета...
>
> («Соц.-Дем.» № 133).
>
> 2) Центральный комитет съезда советов рабочих и солдатских депутатов постановил требовать от правительства отмены смертной казни. За это решение высказались там и соц.-революционеры.

Касаясь повседневной партийной работы на местах мы отмечаем вообще полное несоответствие форм и направлений этой работы тем постановлениям, которые были проведены на III партийном съезде и тем принципам, которые были положены в основу этих постановлений. Этим указанием мы стремимся обосновать ту мысль, что партийный съезд, как представительство партийных сил в целом, — стоит ближе к истине, нежели руководящая, верховная группа. Но эти силы — столь надежные в массе, — на местах оказываются столь слабыми, что перестают руководствоваться общепартийными резолюциями, а прислушиваются больше опять-таки к голосу руководящей группы, проводящей свои взгляды через официальные партийные органы печати.

В виду изложенного мы констатируем факт полного бессилия общепартийных резолюций и как выхода из тяжкого положения — требуем реорганизации Центрального комитета.

30—VIII

Частная беседа

На этой частной беседе решалась не более не менее, как судьба местной эс-эровской организации. Собрание было почти конспиративное. Мы еще держим втайне пункты ближайшего коллективного выступления. На первом же общем собрании производим учет примыкающих и противоположных сил. Если нас меньшинство — ходим и организуем группу максималистов; если большинство — предлагаем реорганизацию комитета, куда выставляем своих кандидатов. Разделение произойдет уже не только по линии интернационализма — оборончества, но и по линии максимализма — минимализма. Комитет составляет основное ядро и составляется из надежнейших членов.

Вокруг комитета сгруппировываются наиболее сознательные члены, члены же рядовые ко многим вопросам конспиративного характера абсолютно ни приобщаются. Первое собрание должно быть тотчас за днем выборов. Идет работа — созвать главным образом «с в о и х», т.-е. рабочих и солдат.

Были рассмотрены основные вопросы текущего момента и наши к ним отношения, наш взгляд.

I. В р е м е н н о е п р а в и т е л ь с т в о, как орган власти с тенденцией соглашательства, компромиссов и явных отступлений от лозунгов истинной революционной демократии, подлежит у п р а з д н е н и ю.

Исключая все виды поддержки Временного правительства, мы не вступаем с ним в активную борьбу до тех пор, пока не будет у нас полной уверенности, что исход борьбы даст положительные результаты. Симптомы жизни свидетельствуют о близком восстании.

Факту свержения Временного правительства должен предшествовать факт образования органов демократии, могущих заполнить пустоту. Мы не предрешаем вопроса о том, в какой момент и в какой форме должно произойти замещение. Органы демократии могут реорганизоваться теперь же и тогда борьба будет заключаться в передаче власти Временного правительства уже существующим органам.

Но оба момента могут и совпасть, т.-е. восстание родит новые органы и одновременное свержение Временного правительства поставит на очередь захват власти именно этими новыми органами.

Но, не делая активных выступлений в сторону свержения Временного правительства, мы стремимся разъяснять населению весь ужас и вред принятого правительством курса поведения, и таким образом удобряем почву для будущего близкого восстания.

II. Смертная казнь безусловно осуждается и учитывается, как один из симптомов надвигающейся контрреволюции и военной диктатуры.

III. Кнтр-революция надвигается, и поэтому максималисты должны быть готовы к террористическим выступлениям.

IV. Московское совещание дало возможность темным силам открыто произвести учет своей наличности. И не случайность, конечно, что предполагавшийся контрреволюционный заговор совпал с моментом совещания.

Осуждается самым категорическим образом поведение на совещании Керенского и Брешко-Брешковской, изменивших окончательно тем лозунгам, которые провозгласила демократия в начале революции.

V. Войну прекратит только сам народ. Поэтому необходима в самом ближнем будущем смена правительства и передача власти в руки такого органа, который не на словах, а на деле пытался бы всемерно приблизить мир.

Пути должны быть избраны решительные включительно до разрыва с союзниками.

31—VIII

И все это правда. То, что думали и говорили мы, оправдалось на деле с поразительной точностью.

Смертная казнь на фронте и в тылу (комиссия Вишнякова).

Фальшивое «доверие» Корнилова органам демократии.

Вывод из Петербурга революционных полков и замена их кавалерийскими и казацкими частями.

Совещание в Ставке, с приглашением командующих округами. Зловещие речи на Московском совещании — все это были симптомы контр-революции.

26-го августа Корнилов через думца Львова, а затем и лично (по прямому проводу) заявил правительству о своей воле на захват власти.

С ним туземные войска, с ним часть казаков и кавалерии, с ним обманутые пехотные полки.

Чем дальше, тем тревожнее, но тем яснее и определеннее единодушное выступление революционной демократии на защиту свободы. Все партии и организации временно спаялись единым порывом.

Мы не закрываем глаз на возможность, даже больше — на неизбежность раскола вслед за разгромом контр-революции, но теперь — теперь мы имеем общего врага и потому борьба наша будет общей.

28-го пришла первая телеграмма Корнилова. Город заволновался, закипел в вихре мчавшихся слухов, предположений и догадок.

Исполнительный комитет назначил к вечеру экстренное собрание с приглашением представителей от партии и революционных организаций.

Председатель Киселев, секретарь Фурманов.

Всего собралось человек 60.

Это было торжественное величественное зрелище: недавние враги, злобно-ярые противники сидели как братья.

Опасность спаяла.

Дисциплина образцовая.

Тишина абсолютная.

С особенным вниманием выслушивали говорящего.

Одна за другой бежали телеграммы, — все призывы к спокойствию, к необходимости быть готовыми выступить на защиту погибающей свободы ... Все дрожали ... На бледных, истомленных лицах была решимость.

Глаза горели огнем отваги.

Это была величественная картина мобилизации разбросанных чувств и мыслей, мобилизации в едином моменте.

Тишину разрывал телефонный звонок. Тогда с небывалым напряжением вслушивались в каждое слово повторяемой телеграммы, записывали спешно, делали отметки.

Разошлись глубокой ночью.

Исполнительный комитет остался.

Мы ночевали в Совете на столах, все время тревожимые телефонными звонками.

На утро к Совету стал толпиться народ — толпиться у столба, где вывешивали вновь приходящие телеграммы.

В полдень по городу были митинги.

Еще накануне в заседании было решено создать революционный орган, который взял бы на себя всю ответственность и заботу о спокойствии города.

«Штаб революционных организаций» организовали; вышла десятка:

3 представителя от Исп. К. С. Р. и С. Д.,
3 » » соц. партии (эс-эры, б-ки, м-ки).
1 » » гарнизона,
1 » » комитета общ. безопасности,
1 начальник милиции,
1 начальник боевой дружины.

Первое собрание было вечером 29-го. Присутствовало 8 чел. Закончилось через 3 часа.

Город объявлен на военном положении. Власть официально переходит к начальнику гарнизона. Вчера он присутствовал на 2 заседании штаба.

После речей, горячих и единодушных, решили работать совместно — штаб, нач. гарнизона и нач. милиции.

Один без другого, не оповестив, не должен предпринимать каких-либо крупных, решительных шагов.

Лишь только полковник ушел — все переглянулись, улыбнулись.

— Держите ухо остро, — сказал Киселев. — Чорт его знает, кто он такой. Видели, как он насторожился, когда рекомендовали Евсеича начальником боевой дружины: что за дружина, да какова роль.

— Надо быть осторожными, не распространяться. Я что-то даже беспокоюсь — не авантюра ли вся эта корни-

ловская затея. Может-быть он хотел лишь создать всюду военное положение, а там и прихлопнуть все дело. А? Как думаете?

Новая сложная мысль товарища как-то всех передернула. Нам и в голову не приходило подобное соображение. Но неужели и Верховский? Нет, не может быть...

Впрочем и этот «террорист-бомбист» Савинков был ведь «правой рукой» Корнилова...

Недаром Корнилов предлагал Керенскому устроить диктаторский триумвират: он, Корнилов, Керенский и... Савинков... Подозрительно... А как у нас относительно оружия?

Тут начальник милиции и председатель полкового комитета успокоили окончательно. Оказывается, все в надежных руках — бомбометы, минометы, винтовки, ручные бомбы и проч.

Наготове и проволока.

Боевая дружина наметила план работы в среде гарнизона.

В нужный момент боевики, переодетые в солдатские шинели, увлекут за собой солдат и фактически, таким образом, будут командирами маленьких войсковых частей. Только меньше говорить, меньше распространяться о дружине.

Начальник гарнизона не опасен, потому что последний указ Верховского дает право полковому комитету смещать неугодных начальников. Этим разрешается все дело.

Долго еще сидели мы в прокуренной, наглухо закрытой комнате. За дверями стоял часовой-боевик, никого не подпускавший к двери. Конспиративный характер заседания как-то особенно подымал дух и родил в высшей степени революционное настроение. Недаром здесь так единодушны были меньшевики, большевики и эс-эры.

Здесь была кучка работников, на время спаянных единою мыслью.

Мы знаем, что это единение недолговечно; что за разгромом корниловщины мы снова пойдем разными путями, но теперь было все едино.

Большевики уже верхушками переплелись с максималистами. Часто прорывается у них мысль о немедленном захвате фабрик и заводов, о строжайшем контроле — они

прикасаются к максималистской полной социализации. Они уже начинают сомневаться в «естественном ходе событий», в концентрации производства — и ближе, все ближе примыкают к максималистам.

Эта боевая дружина при штабе, слитая из двух дружин — большевиков и максималистов — она также свидетельствует о переломе, о сознании недостаточности приемов своей классовой борьбы.

Недаром большевики так часто за последнее время «б р а т а ю т с я», блокируются с максималистами. Это братанье диктуется железной необходимостью: одна часть берет от другой недостающие винтики и таким образом происходит выравнивание по общей революционной линии.

Эс-эры -оборонцы, на голову разбитые авантюрой Корнилова, еще цепляются за грешные методы, но нет уже прежней у них уверенности, нет абсолютного преклонения перед тактикой руководящих кругов. Удары сыплются один за другим; партия раскалывается и надо думать, близок день, когда революционно-социалистические массы потребуют к ответу своих бесталанных нагрешивших кабинетных вождей.

Близок день... Но он впереди.

А теперь, не закрывая глаз на скорый, неизбежный раскол, — теперь мы едины и охвачены единым гневом. Мы верим в победу революции, верим, что этот перелом будет плюсом в нашу сторону.

Слишком очевидны ошибки соглашателей.

Победа над Корниловым будет в то же время и победой левой революционной демократии.

3—IX

Максималисты

Словно камень с сердца свалился, когда порвали мы со своими «т о в а р и щ а м и»-оборонцами. Долго с трепетом душевным ждал я этого собрания, много волновался, много тужил, перед многим, скажу откровенно, растеривался до крайности и робел до невозможности.

Я, так недавно ставший социалистом, я, так мало еще ознакомившийся с основами социальных учений — я брал на себя тяжкое бремя руководства группой максималистов.

Я понимал и видел, что мои товарищи-максималисты — сила, пригодная лишь для технической работы, что нет помощников по утверждению и распространению наших взглядов; что товарищи во многом будут ошибаться, дискредитировать группу, а вместо с тем и подрывать веру в максималистов вообще. Я одинок. И это одиночество тревожило и волновало. Сегодня мы откололись на общем собрании; ушло 19 человек. Мы предложили собранию учесть и выявить линию поведения — если эта линия будет интернационалистской мы согласны работать в контакте; если она оборонческая — мы порываем всякую связь и отзываем товарищей, которые прошли по списку в гласные думы. Первое думское заседание через неделю, и у эс-эров имеется возможность заменить выбывших членов далее следующими по списку.

Нас ушло 19 человек.

Завтра, на собрании, установили свою железную, внутреннюю дисциплину: изберем комитет и президиум.

Мы не имеем средств и придется изощряться.

Работать трудно, потому что нет под руками культурных сил: они — все решительные и смелые люди, но в смысле познаний сильно хромают, и потому назначаю ряд бесед, где придется объяснять политическую азбуку и программу максималистов.

Я понимаю, что максимализм ими учитывается лишь как форма активного действия, как интернациональная линия поведения.

Я понимаю, что программная разница их не занимает и не учитывается — и несмотря на это все-таки принимаю тяжелое бремя руководства, потому что верю в нашу совместную работу, в возможность планомерного политического развития.

Мы порвали, и стало легко.

А эти чудаки, Майоров и Салов, дело понимают таким образом: т. Фурманов работает в Исполнительном комитете С. Р. Д. — следовательно он большевик.

Он сознательно дезорганизует партию эс-эров и совершает тем самым нечестный политический поступок. Мысль дикая, несуразная. Но по недостатку времени ответить на эту, да и на многие иные дикости, я не мог.

Теперь спешно и много придется читать; надо завязывать теснейшую связь с кронштадтско-петербургской группой; надо вести просветительную работу внутри партии и агитационно-пропагандистскую во вне.

Работы масса. А в Совете и того больше. И как только я справлюсь со всем этим, не знаю.

Связывает еще секретарство в девятке, которая теперь, пожалуй, скоро не разойдется, если учитывать разрастающееся движение казаков.

Кругом — все ответственная большая работа. Я ушел в нее с головой. И так это все непривычно, так ново, что голова кругом идет.

4—IX

1-ое собрание

Недаром это были максималисты. Даже и теперь, когда бояться некого, когда собираться можно открыто — чувствовалось что-то таинственное, конспиративное в нашем собрании, пахло сыростью, страхом и подпольем. Не белым днем, не в светлом зале — мы собрались в полутемной, мрачной комнате, поздним осенним вечером и засиделись до глубокой ночи.

Максималисты организуются осторожно, кучкой, не гонясь за количеством.

Собралось 14 человек. И тут же избрали комитет (Фурманов, Синицын, Балакин, Шабалин, Собинов, Волков, Тюленев, Яманов, Козлов Николай, Орлов, Балычев, Сидоров Алексей, Козлов Андрей).

Пузанов остался неизбранным.

В президиум вошли:

Председатель Фурманов,
тов. председателя Балакин,

секретарь Орлов,
тов. секретаря Яманов,
казначей Тюленев.

Стали говорить о дисциплине — здесь внутри и во вне, при выступлениях. Единодушно была признана большая осторожность, недопустимость митинговой перебранки и обливания помоями социалистов другого лагеря.

Пока мы бедны, средств нет а дело надо ставить на ноги.

Товарищи, мы кровно заинтересованы в том, чтобы дело тронулось разом. Съежимся, победствуем две-три недели, но дадим что можем на святое дело. Мы для дела забудем все, оставим свои интересы, вложим душу, поддержим средствами...

И простой, бедный рабочий, которому захватили дух простые слова — выхватил из кармана две скомканные бумажки и нервно бросил на стол 15 р... Живо собрали полсотни.... — Ничего обязательного. Кто что может. Стесняться не будем...

Когда поднимался вопрос о вступной плате — сошлись на том, что обязательной платы быть не должно, но каждому вновь поступающему члену следует объяснить бедственное материальное положение группы... Пусть он даст хоть грош, — зато будет чувствовать свою связь, сознавать, что и он участвует в строительстве, чем может. Назначили числа, в которые будут собираться добровольные взносы.

Здесь опять-таки чувствовалось нечто новое, то, что отличает нас от других партий, где имеются обязательные взносы. Взносы, кроме целей помощи, будут свидетельствовать о том, что данный член принимает к сердцу интересы группы, хоть грошом, но старается помочь ей. Поэтому будут исключаться те, которые два месяца не внесут ни единой копейки.

Толковали относительно издания, литературы, газет, журналов.

Все это наладится в ближайшие дни.

Вновь поступающие члены будут опорой и тою массой, на которой сосредоточим мы свою работу.

Ядро останется конспиративным и во все вопросы внутренней работы не должно посвящать рядовых членов.

А внутренняя, ядровая работа предстоит большая. Народ все молодой, горячий, с большим рвением к добру и знанию, обуянный до мозга революционным духом.

И уже теперь один из товарищей заявил, что скоро сможет стать анархистом и просил снять свою кандидатуру в секретари.

Мы будем часто собираться и в беседах разбирать свою программу. Будем писать доклады, пусть они будут нескладны и смешны на первый раз, — в конце концов мы добьемся своего.

Будем спорить, будем учиться.

7—IX

Совет

Собственно говоря, всю советскую жизнь держат на своих плечах только три человека:

Вас. Степанов.

Алек. Семен. Киселев.

Мих. Алекс. Колесанов.

В Совете числится до 200 человек.

В Исполнительн. ком. 25.

В президиуме человек 12.

Но работа ответственная и направляющая лежит на этих трех работниках. Это действительно самоотверженные, преданные делу с головой работники. Вы их в Совете можете встретить с раннего утра до глубокой ночи. Они дают инициативу, они отдают приказания и поручения — остальные только облегчают по мере сил многосложную работу и являются рядовыми, бледными по сравнению с ними фигурами. Бледными не потому, что не могут быть яркими, а потому, что к делу относятся как-то формально, как будто пытаются только доказать, что и им не задаром платится жалованье. Нет кровной связи, нет беззаветной преданности.

Получается такая картина: три человека с утра до ночи работают не отдыхая и получают по 150 руб. 22 человека появляются «н а л е т о м», чтобы только показаться и полу-

чают тоже 150 руб. И те, первые безропотно переносят эту, кажется бы вопиющую, несправедливость. Здесь налицо поистине беззаветная, бескорыстная преданность тому единственно дорогому, за что они долгие годы скитались по тюрьмам и в ссылке.

И вспоминается знакомый студент, кадет, — в щегольском костюме, с золотой по животу цепочкой, чистенький, нежный, противный.

Был все время как будто застрельщиком, т.-е. во дни царского гнета был передовым, непокорным, бунтующим, и вдруг теперь, слышу, — работает на кадетов за 600 руб. в месяц. «Хорошо одевается и складно говорит» — как донес мне один общий наш знакомый.

Вот она образованность, вот она моральная шаткость — за 600 руб. продал человек свое святое-святых. Мы всегда должны остаться с народом, «навьи чары» кадетизма надо учесть, как путь погибели и соблазнительного, преступного самодовольства.

На фоне этого контраста — особенно выпукла фигура рабочего, бескорыстного, упорного, твердого и преданного делу беззаветно.

Целый день Совет кишит приходящими, целый день надо успокаивать, разъяснять, помогать.

Взволнуется ли народ из-за голода, нехватает ли на фабрике подмастерьев, забастуют ли типографии, начнут ли вырубать окрестные леса, появятся ли в городе погромные слухи, — все эти нужды и требования стекаются в Совет, все это ищет здесь разрешения. Доверие к Совету огромное. За полгода революции не было еще здесь эксцесса, который можно было бы объяснить непредусмотрительностью или преступной халатностью Совета. А все потому, что во главе встали слишком честные, слишком бескорыстные люди. Они уже забыли про свою частную, личную жизнь, они оторвались от «с т а р о г о м и р а» и кроме Совета ничего не знают. В данный момент лишь такая преданность и может отстоять молодую, чуть созревшую вседемократическую организацию. Много и здесь, конечно, увидите и услышите болтовни и безделья, но без этого, видимо, не обойтись.

Ссыльные, особенно пробывшие в ссылке год или два, особенно любят похвастаться своими страданиями. К месту

и не к месту напоминают они слушателю, что «когда я вот в ссылке был», «когда нас гнали по этапу» и т. д. и т. д.

Делается неловко, бахвальство очевидное. Но это все люди мало серьезные.

От Киселева, например, пробывшего в изгнании что-то больше 15 годов, никогда и ничего про ссылку я не слыхал. Молчит и все работает, все работает...

Теперь вся эта работа еще не оценивается должным образом; во весь свой рост она подымется через два-три десятка годов, когда мы оглянемся на то, что и как строили когда-то давным-давно, в горячее революционное время. Тогда оценим и оценят, а пока здесь много будничного, тусклого, неприметного...

Советские собрания еженедельны. Исполнительный комитет собирается минимум 3 раза в неделю. А о президиуме что-то и не слышно, — все дела решаются Исполнительным комитетом. Сюда стекаются отовсюду сведения: из Комиссии труда, из К.-просв. Ком. совета солдатских жен, из биржи труда, солдатской секции, конфликтной комиссии и т. д. и т. д.

Исполнительный комитет является чревом, которое кормится от собственных детей.

Ответ оборонцам

— Товарищи. Вы все это дело понимаете как-то слишком схематично и примитивно.

Нельзя же думать, будто пришел вот «з л о й т. Фурманов» (вы так и сказали «злой т. Фурманов») пришел, взбудоражил, мстя за беззаконное исключение, и увел за собою толпу непонимающих, слабых и темных людей. Это упрощенное объяснение отдает будничностью, серенькой, тусклой обыденностью. Дело обстоит совершенно иначе. Была готова почва для раскола, было ясно и определенно выражено требование отколовшейся группы и передо мною стояла необходимость зафиксировать назревший раскол, потому что чем далее, тем тяжелей было им оставаться с вами, принимать и подписывать те резолюции, с которыми они не были согласны. Ведь получалась трагедия:

Человек убежден в одном, а говорит, вынужден говорить совершенно обратное. Так было, напр., с т. Балакиным. У себя на фабрике, после речи большевика, он должен был отвечать как официальный представитель оборонческой организации. Во взгляде на смертную казнь он согласен был с т. большевиком, а говорил иное, противоположное ...

Конечно освистали, прогнали ... И было бы за что страдать. Если бы он верил в свои слова — тогда другое дело, но вы сами посудите, насколько тяжело было его положение. Это лишь один из сотни случаев. И надо положить конец этим бессмысленным, ненужным страданиям близких мне товарищей.

Ушли рабочие. И это симптоматично. Рабочие—революционный авангард; рабочие — наиболее беспокойная, действенная сила.

С вами останутся фельдшера, конторщики, всякого рода служащие, т.-е. все те, кого мы называем «мелкой городской буржуазией».

Осмотритесь, на кого переносится центр тяжести. Осмотритесь и одумайтесь. Вы опираетесь на силу ненадежную. Солдаты и рабочие с нами.

За числом мы не гонимся, но скажем открыто, что настоящие демократы, даже оставаясь с вами — душой будут с нами. Вы увидите, как скоро пополнится наш кадр.

Вы смеетесь и уже толкнули в паршивую газету дрянную статьишку о том, что я демагог, а идущие за мною — слепцы, не знающие куда и на какую погибель идут. Что ж политика дискредитирования — ваша неизбежная, излюбленная дорога. Мы промолчим. А когда понадобится скажем и свое простое, крепкое слово. Только браниться с вами не будем.

У вас ускользает почва из-под ног.

Корниловский удар пришелся вам прямо по сердцу. Вы посмотрите (или не видите), какое брожение началось в эс-эровских и меньшевистских рядах. Ларин ушел от меньшевиков, потому что стало невмочь смотреть, как разрушаются «священные, старые храмы».

Петербургский С.Р. и С.Д. принимает подавляющим большинством резолюцию большевиков по вопросу о Временном правительстве.

Совет московских советов Р. и С.-Д. принимает по тому же вопросу большевистскую резолюцию.

ЦИК С.Р. и С.Д. принимает положение о власти «революционной демократии», которая на заседании 12 сентября решит — кому передать верховную власть.

Все это ведь победа революционной демократии, во главе которой стоят тт. интернационалисты.

А вам все это неубедительно?

Вы снова подыскиваете пути соглашательства, снова хотите «пожать Бубликову руку».

Каких же вам тогда доказательств того, что вы все время ошибались сознательно и бессознательно.

Вместо Корнилова вы подсунули нам Алексеева. Хрен редьки не слаще. Мы готовимся к новой встрече, ждем нового заговора.

Но мы не теряем момента, не спим, организуемся еще тесней, и спешно организуем «Красную гвардию».

ЦК полевел, но не до такой степени, чтобы отражать действительную волю низов, и потому мы требуем немедленного Съезда советов и перевыбора ЦИК.

Мы требуем, чтобы власть принял на себя этот новый, реорганизованный комитет.

Вы сдаете одну позицию за другой.

Вы перестали верить в Керенского. А почему? Потому, что стали понемножку протирать глаза, перестали итти «в т е м н у ю», начали задумываться. На раздумье подтолкнул вас корниловский мятеж.

Вас из спячки выводят только оглушительные, громовые удары. «Гром не грянет — мужик не перекрестится», — вот ваша тактика.

Так поймите же, наконец, что эта политика систематического опаздывания и близорукости грозит нам неисчислимыми бедами. Приучитесь, наконец, думать «на свободе», прежде, чем «ударит гром на небе».

Нам с вами по пути, но мы торопимся, нам некогда. Мы верим, что железо куют пока горячо. А вы по другому мыслите: тише едешь и т. д.

Поспешишь — людей насмешишь — вот ваша дорожка.

Что говорить — так покойнее.

Только велика ли тут заслуга — в этой расчетливости, в этой медленности, граничащей с неподвижностью.

Мы понимаем осторожность, но согласитесь сами, что ваша осторожность перешла в робкое выжидательное прозябание «в политических окопах».

Когда надо итти — вы сидите; когда надо мчаться вскачь — вы еле переставляете ноги.

Нам по пути с вами, товарищи, только вы слишком медлительны. Оставайтесь в окопах, а мы пойдем в атаку.

8—IX

Окончательный разрыв

Он совершился вчера — разрыв окончательный и бесповоротный. У них была еще, повидимому, надежда примирить, сгладить, соединить несоединимое.

Были в запасе и фальшивые ласки, были оскорбления, язвительные словечки, насмешки и проч.

Когда примирение не состоялось, они пустили в ход колючую артиллерию. Но мы молчали. В наши задачи не входило целый вечер заниматься оскорблениями.

— Как быть с Думой? — этим вопросом они предполагали, видимо, оглушить.

— Если некем заменить — работать будем, но выступаем, как самостоятельная группа, заявляя от своего — не от вашего имени те или иные требования.

Заробели. Замялись. Зашушукали. Впрочем один распетушился:

— Дадим, дадим, давайте допустим, это ничего, — горячился он: — это как раз хорошо ...

Они будут солидарны, вероятно, с большевиками, с ними будут выступать и тем самым живо оскандалятся.

Большевики всюду в думах пропадают, посмотрите, вон в Костроме.

План, злоехидная затея товарища не были приняты.

И правильно поступили, что решились, наконец, сказать определенно о согласии расстаться.

А как им хотелось удержать, как хотелось, боже ты мой.

Желание прекрасное и осуществимое, только немного берите полевее, тт. минималисты.

11—IX

За работой

Минимум два раза в неделю собираемся на товарищеские беседы. Нам приходится спешно готовиться и постигать «Трудовую Республику».

Работа, собственно, сводится к тому, что я знакомлю их с основными положениями максималистов и в параллель разбираю социалистические программы.

Выявляется большой интерес. Возникает масса вопросов. Приходится быть универсальным и разрешать единым духом чуть не мировые проблемы.

Беседуем часа два-три, обыкновенно в Совете. Нет у меня помощников, некому поговорить и потому беседы смахивают на лекции.

Чтобы иметь возможность взять здание под комитет — приходится спешно читать ряд лекций в ближайших городах и крупных селах.

Наши анархисты начинают все определенней заявлять о своих анархических склонностях. Предлагают, например, занять чужое здание под комитет. Но ясно, что, начиная прямо с захвата — мы попадаем в фальшивое положение. О нашем существовании еще мало кто знает. Ничем положительным себя мы не зарекомендовали и этот преждевременный захват может лишь повредить общему делу. Чем больше читаю и толкую про «Трудовую Республику», тем больше верю в ее спасительную роль.

И возникает мысль:

А, что если читать только эс-дэковскую литературу — не будешь ли ярым эс-дэком; читая эс-эровскую—столь же ярым эс-эром.

— Я был эс-эром, — говорил один товарищ, человек серьезный и дельный: — но в ссылке почитал Богданова и стал большевиком.

Там все читали и учили Богданова, все были эс-дэки в этом месте, и диво ли ему, неотвердевшему, диво ли ему было тогда сойти с прежней дороги.

Наши анархисты читают лишь анархическую литературу и нет сомнения, что будут непрестанно заявлять о себе именно с этой стороны.

Все-таки работников нет и дело пока что не развивается. Ждем литературу и газеты.

Может тогда и тронемся побыстрее.

22—IX

Петербургские максималисты

Я увидел их впервые — старых работников-максималистов: Нестроева, Тагина, Ривкина...

Максималисты устроили в Питере митинг. Между прочим, пришлось говорить и мне.

Потом Ривкин пригласил к Нестроеву, где собирались в эту ночь старые друзья.

Ривкин — маленький, худенький, бледный, с огромной чернокудрой шевелюрой, с черной бородой, которую то и дело потаскивает за кончик. Ходит как-то согнувшись, говорит тихо, смотрит задумчивыми умными глазами прямо в лицо собеседнику. С ним я увиделся еще в «Трудовой Республике», где забирал литературу. Тагин — сухой, высокий, некрасивый, с бесцветным лицом. Под очками не видно глаз. Любит поговорить и часто излишне пространно. Повидимому, неважный психолог, так как заморил утомленную аудиторию скучнейшим докладом о прибыли и убытке, заставил ее рассосаться и утерял за полчаса человек 200 слушателей.

Нестроев — высокий, бледно-смуглый с окладистой черной бородой. Ему, повидимому, лет 38—40. Красивый, неожиданно-нервный. Он все время как-то невольно повертывается во все стороны, словно ожидая нападения — плод долгой подпольной работы.

Нестроев встретил нас в коридоре и узнал только Ривкина. Тут был и старый работник под кличкой «Яша».

— Тагин, ты?

— Я, братец, я...

— А это... постойте, постойте... дайте припомнить... Да это не вы, «т. Яша»?

— Узнал все-таки...

— Эх, друзья, друзья, а я думал, что вас уже вздернули всех... На-ко, снова пришлось увидеться...

Они весь вечерь, всю ночь жались один к другому, обнимались по-товарищески, хлопали друг друга по плечу...

— А «Х» повесили, — сообщал Нестроев.

— Да, я знаю, — понурился Тагин... — Его повесили через два дня после нашего последнего свидания... Я чудом уцелел. Думал, что попаду.

Вспомнили какие-то 30 тысяч, которые по одной версии сожжены, по другой — присвоены.

Помянули проклятьем провокаторов, которых среди максималистов, к счастью, было мало.

И после чая начали столковываться о необходимости создать центральный орган, о необходимости всероссийской конференции. Обсуждали и о возможности слияния с левыми эс-эрами.

— Но я предлагаю не нам слиться с ними, а им предложить слиться с нами. Мы и они признаем, что революция социальная, но одного их контроля недостаточно. Да и положение это у них нетвердое, колеблется постоянно. Спиридонова определенно заявляет себя максималисткой, только не говорит этого во всеуслышание и не доводит до конца своих мыслей. Но у левого крыла несомненно есть родственное нам...

— Но я знаю, товарищи, что в одном разойдусь круто со всеми вами — в вопросе о федерации.

— Федерацию я не признаю, потому что мыслю Россию, как единую, как страну в целом и преследующую единые цели. Федерация — раскол и абсурд. В этом разойдемся.

Никто не возражал. Была уже поздняя ночь. Я ночевал в доме эмигрантов и на следующий день уехал из Петербурга.

23—IX

Демократическое совещание

Я был туда делегирован от местного Совета рабочих депутатов. Был и убедился в том, что пустой болтовни всюду достаточно.

Целые дни разные представители говорили все одно и то же, одно и то же... Было противно, скучно и стыдно за них, не понимающих ненужности многословия. Мы понимаем, что надо заявить свою волю, но когда чавкают целыми часами давно уже пережеванное — тошно, скучно и стыдно за близоруких ораторов. Ценны были лишь Церетели и Троцкий. Все остальное молотило и свистало по готовой дудке. И каждый считал своим долгом начинать с азов и рассказывать всем давно известное. Волновались, кричали, аплодировали, но ясно было, что примирить непримиримое не удастся.

Так и вышло, когда большевики покинули заседание. Факт случайный, но характерный. Часто упоминалось про гражданскую войну, и призраки ее уже чудились над головами восседавших. Были фальшивые попытки примирения, были открытые угрозы. В страшном беспорядке все было в порядке вещей.

Максималисты

Открыли комитет.

Без средств, почти без сил, движимые единственным желанием поставить, укрепить и расширить начатую работу, взялись мы за свое большое дело.

Помещение в зимнее время, плюс платный заведывающий комитетом обойдется самое малое рублей в двести ежемесячно. А средств нет. Из предполагаемых лекций провел я только одну, собрал несколько больше ста рублей. Сборы первого дня, вчерашнее самообложение (рубля по 3) и лекция дали в общем до 200 рублей, а размахнулись уж рублей на четыреста. Единственная надежда на лекции. Тут дней на десять оторвало меня совещание, а теперь выбрали тов. председ. в Совете — так дело все и затягивается, все

откладывается. А в Тейкове уж продано около 1½ тысячи билетов. Никак еще не выберу времени. Пришлось отказаться и от работы на курсах: курсы отошли на задний план, стали дальностепенными.

При Совете начал я большую работу: читать ряд лекций для всех фабрик поочередно: кроме фабрик — для полка и тт. железнодорожников. Социализм, партии, конституции... Вот приблизительный цикл лекций.

Надо приучить всех к Совету, заставить полюбить Совет, почувствовать свою кровную связь с ним.

Только сотрудников не вижу, а одному работа не оказалась бы непосильной. Сегодня провел первую лекцию-беседу с дербеневскими рабочими. Из 800 было около 100 человек. Оповещена была вся фабрика.

29—IX

Старые социалисты

Особенно в ходу теперь своеобразный упрек:

«Ну, да что с ним говорить, он ведь и социалист-то мартовский». И когда я присматриваюсь к старым социалистам в массе—вижу, что социалисты они только по давности, но не по знанию.

Среди максималистов есть и работники 1905 года.

И вот теперь, когда мне одному приходится вести всю работу пропаганды и агитации — вижу, что марка «старого партийного работника» совершенно ничего не дает. Они ничего не знают, даже азбуку социализма.

Правда, это все простые рабочие, люди темные, необразованные, но ведь и не знают они самых элементарных вещей.

Жажда знаний у них огромная, но усидчивости, плана работы совершенно нет. Вот ходить на собрания, заседания, совещания и т. п. — это по душе, потому что все это легко и ни к чему не обязывает: пришел, прослушал готовое, даже сам поговорил — и баста. А работы упорной, незаметной и необходимой, работы над собой, над собственным арсеналом — нет. Все они попали в партию, влекомые понятным протестом, но почти все они и остались рядовыми членами,

совершенно не работая над собою. Мало их, руководящих и увлекающих за собою—все больше инертные, ждущие, что работу за них выполнит кто-то другой. Потому и работать трудно, помощников и сотрудников нет, а дело горит.

Совет

Теперь, почти через 7 месяцев революции ставится вопрос о реорганизации всего дела в Совете. Работали почти вслепую, без определенного плана. Все было как-то случайно, не имело границ, права и обязанностей.

В фабрично-заводских комитетах сборы поручались зачастую лицам ненадежным, и рабочие, вполне естественно, протестовали.

В Совете набрали штат служащих, а делать им нечего, потому что за всех ломит один.

И подобные факты выдвинули на очередь вопрос о реорганизации Совета.

Надо будет поставить библиотеку, устраивать лекции и проч.

Все это и было, все и устраивалось, но как-то вразброд, без плана. Да и работать то некому. Всего лишь работает 8—10 человек. А тут и всевозможные комиссии, и частные поручения, да и мало ли чего найдется.

Вот и ломайся за весь Совет.

Надо проводить по фабрикам сборы, а рабочие противятся — спешите разъяснять дело.

Нет хлеба, ситца — рабочие бунтуют — спешите уговаривать.

Конфликт с хозяином — спешите улаживать.

Просят провести митинг или прочесть лекцию — отправляйтесь немедля.

А кучка-то работников все та же — маленькая, уставшая. Помощи ждать неоткуда.

Пробовали кооптировать, но кооптация делу помогает мало.

Словом, недостаток работников, и только он — может объяснить те несовершенства, которые можно наблюдать в работе Совета. Другое дело в партии — там рядовые члены в большинстве инертны.

Здесь в Совете работают добросовестно и промахи и недочеты объясняются только недостатком работников.

Будем верить, что по окончании войны (а дело идет к тому) придут к нам новые работники и разделят ту тягу и радость, которые приходится брать на себя только немногим.

Максималисты

28-го было очередное заседание членов комитета. Я сделал доклад об истории максимализма. Выразили желание, чтобы каждый раз я задавал на дом вопросы, а они, продумавши, отвечали бы мне на следующем заседании. Связно рассказать не надеются, самой удобной формой первоначальных собеседований признают именно форму вопросов и ответов.

На том и порешили.

Следующая беседа об Учредительном собрании. Доклад сделает т. Балакин. Я задал несколько вопросов; их записали, решили разобрать дома.

Жажда огромная, но требуется палка. Об этом даже просят определенно сами. Таковы уж все мы, что работаем только по приказам.

Литературы за день продали что-то рублей на сорок. Словом дело пошло. Сидоров сидит в комитете с утра до вечера и пока получает всего 50 рублей. Денег нет, но думаем, что скоро наладим и эту сторону.

30—IX

Анархисты

Еще в тот самый момент, когда мы организовали группу максималистов, некоторые товарищи определенно заявили, что они больше анархисты, нежели максималисты и в группе остаются временно. Мы приняли к сведению и работаем до сих пор вместе.

Они почитали анархическую литературу, прослушали две лекции Тюханова и были зачарованы сказочным царством анархизма.

Теперь мы на грани полного разъединения. Приехавшие два товарища думают организовать здесь коммуну. Несколько человек из комитета вероятно уйдет, но комитет не умрет. Я удвою, утрою, удесятерю свое напряжение а комитету развалиться не позволю.

На окнах комитета и теперь уже красуется анархическая литература, и многие даже самый комитет называют анархическим. Родство наше близкое и очень может-быть, что до поры до времени работать будем совместно.

Подмастерья

О подмастерьях в Совете говорят довольно часто. Они требуют непомерно высоких окладов, пользуются тем, что их мало, что они нужны, а заместить некем. Даже сами рабочие жалуются, что подмастерья к ним относятся скверно. Сегодня в комитет ткацкой Бурылина вбежала плачущая женщина:

«... сидят как господа, — кричала она, — и подступиться нельзя; то курит, то „на двор" уйдет, то разговаривает с кем — прямо подступу нет... А меня обругал, осрамил...».

В компании из-за подмастерьев однажды несколько дней не работало человек 500 ткачей. Был ропот, ткачи заявили в Совет. Помню решено было даже устроить нечто вроде курсов для подготовки подмастерьев из наиболее пригодных и способных ткачей.

3—X

Мои лекции

Первая была в Кохме, еще недели три назад. Она была успешна. Две следующие были проведены в Тейкове.

Надо отдать честь Тейкову, — рабочие любознательны, неспокойны, каждый миг готовы выступить по призыву Совета. Там исключительно большевики. Иной партии даже и не существует. Большевики в Совете, комитетах, в профессиональном союзе. Они же и в земской думе, они и в управе, где председательствует председатель Совета т. Коротков.

Пришлось мне быть на советском заседании. То же боевое настроение, что и у нас. Те же нелады ткачих с подмастерьями, что и у нас; тот же неизменный вопрос повестки каждого заседания — продовольственный вопрос.

Там за сентябрь получили фунтов по 12 хлеба. Совет держит в своих руках рабочую массу и силою авторитета сдерживает ее от сепаратных выступлений.

Особенное впечатление произвело то место лекции, где я говорил о рабочей массе, как о единой армии угнетенных и порабощенных и призывал помимо партийных разногласий помнить свое классовое единство и во имя его — организоваться, сплачиваться теснее вокруг советов, комитетов и профессиональных союзов.

В толпе виднелись радостные, улыбающиеся лица, сочувственные кивания головой, переглядыванье, поколачиванье по плечу и т. д.

Там до сих пор было устроено всего 2—3 лекции, и рабочие жаждут живого слова.

Елюпино

Сюда пригласили меня присутствовать на выборах земской управы. Были настолько внимательны, что прислали на станцию лошадь и подкатили прямо к правлению.

Из 26 гласных — 18 большевиков и только 8 эс-эров; как ни странно это с первого взгляда, а на деле очень понятно и вполне естественно. Я видел мужиков, годов под 50 — в лаптях, в изодранных тулупах и нахлобученных шапках, и когда спрашивал: вы, товарищ, какой партии? — крестьянин, чистокровный земледелец отвечал: большевик.

Согласитесь, что странно это слышать от темного крестьянина, до сих пор инстинктом тянувшегося к партии соц.-революционеров.

Здесь причину и вину следует искать в тактике самой партии. Крестьянину стало ясно, наконец, что там, наверху, что-то неладно, что настроены там слишком мирно, что голосуя вместе с ними «можно проголосовать и землю», как выразилась Мария Спиридонова, предупреждая демократию на Петербургском совещании о голосовании за коалицию.

И вот темные хлеборобы силою вещей должны были порвать с тою партией, которая утеряла былой революционный дух, силою вещей вынуждены были итти к большевикам. Кругом он видел, что эс-эры — это наиболее податливая, наименее революционная, самая зажиточная часть крестьян, что туда же вошли и лавочники и даже механики, не говоря уже про обеспеченных квалифицированных рабочих, которые даже расстались с эс-дэками.

Эс-эры в Кохме на выборах земской управы блокировались с к-д.

Правда на выборах они выставили в числе кандидатов и несколько человек большевиков, но этот факт блокирования окончательно раскрыл глаза бедному крестьянину и заставил его отшатнуться от эс-эров.

В Кохме гласных большевиков 22 человека, остальных 28. И вот эти 28 отказались от работы в управе, желая все взвалить на большевиков и дискредитировать их окончательно, всячески вредя и не помогая им в повседневной работе. Такая же картина наблюдалась и в Елюпине, где эс-эры отказались дать своего представителя в управу, несмотря на то, что большевики предлагали им одно из трех мест.

Говоря о личном впечатлении замечу, что все эс-эры, которых я там слышал, произвели на меня прежде всего впечатление людей с коммерческой жилкой, будничо-практических, совершенно неодухотворенных какою бы то ни было высшею идеей, жалких на скудных мыслях и возмутительных на явно саботирующей практической работе.

Они, собственно говоря, самые определенные мелкие кадетишки, примкнувшие к эс-эрам лишь потому, что тактика эс-эров совершенно не отличается от тактики кадетов и не грозит ввергнуть их в пучину борьбы.

Впечатление было у меня тяжелое и вместе отвратительное.

К эс-эрам перешел один из рабочих, получающий теперь до 300 рублей, на готовой квартире и т. д.

Собственно теперь он уже числится служащим. Рабочие помнят его, как хорошего организатора эс-дэка, еще с 1905 г. и только диву даются, как могла его перекувырнуть эта сравнительная материальная обеспеченность...

И вот крестьянская Россия раскалывается. Отовсюду слышим, что крестьяне то здесь, то там провели в волостное земство большевиков. Это слишком характерно, симптоматично и показательно для оценки эс-эровской тактики, которая даже «Землей и Волей», писанными на бумаге, не может удержать крестьян в своих рядах. А когда-то было чем гордиться, было за кем итти, было за что бороться.

КРИЗИС СОВЕТА

4—X

Надолго останется в памяти этот проклятый день. На очередь дня ставился сам собою кардинальнейший вопрос:

Существовать Совету или нет?

Начинать разгром или нет?

Душить революцию или обождать?

Измученные голодом, получив за месяц по 10—11 ф. ржаной муки, рабочие задрожали перед возможностью голодной смерти в самом ее настоящем действительном виде. Муки нет ни пылинки. Надежды на получение также нет. Возбужденные, плачущие приходили в Совет голодные женщины и просили как-нибудь помочь голодным ребятишкам, оставленным дома. Мы помочь, разумеется, не могли. Тяжело и страшно было смотреть и слушать эту вереницу голодных рабочих, пришедших в самую тяжелую минуту к Совету, прибегнувших к нам, как к последнему своему оплоту, своей последней надежде.

В 12 часов в управе назначалось совместное заседание Совета, городской, продовольственной и мануфактурной управ, фабричных комитетов и социалистических партий.

Когда мы пришли туда во 2 часу, задержавшись в Совете, народа собралось человек до 40. Стоял невообразимый шум; кто-то кричал, кто-то требовал, кто-то упрашивал.

— Заседает. Кто заседает, зачем. Кто его просил без нас заседать. Вызвать сюда.

Это вызывали президиум частного заседания управ, вызывали силой, совершенно игнорируя то обстоятельство, что

эти члены президиума, только что на-днях выбранные ими же — тт. рабочие, все известные, заслуженные работники.

Скоро президиум вышел из комнаты и направился в зал, где по-старому продолжали беспорядочно кричать и требовать.

Киселев попытался было призвать к спокойствию, хотел что-то объяснить, но говорить ему не дали, кричали попрежнему во все горло и пытались один другого заглушить.

Киселев, Степанов, Любимов смущенно вынуждены были ретироваться в сторону.

— Не надо, ничего не надо. Будет уж, натерпелись за 6 месяцев... Теперь сами возьмем. А! вы от компании?.. Почему одна? Кто вас выбирал?!

— А!.. так вы от комитета?.. Нам комитеты не нужны, нам нужны выбранные от толпы!..

— Вы тоже от комитета... Вот оно, смотрите, — горланил оратор, разводя руками перед толпой единомышленников; там только хлопали по бедрам руками, качали головой и кричали, кричали без конца. Наконец, удалось установить, что от некоторых фабрик представители делегированы комитетами, а от других — толпой. С одной фабрики пришло 11 человек, а с другой всего 1 представитель. Столковались на том, чтобы выбранная тут же из 5 человек комиссия созвала в клуб к 5 часам представителей рабочих масс по 10 человек от каждой фабрики...

На этом дело временно закончилось; часть ушла. Времени было уже около 3 часов.

Настроение присутствовавших было явно угрожающее. Они совершенно игнорировали все общественные революционные организации и, не имея определенного плана, кричали только об одном:

— Вы нас все газетами да речами кормите. Нет, вы хлеба дайте. А то, наобещали с 3 короба, а на деле-то и нет ничего!

— Мы не собаки, околевать не будем. Раз взялись, — значит и доставать надо!

— Разные антимонии-то нам разводить нечего!

— Народ волнуется и завтра выйдет на волю. Нам совет да комитеты хлеба не дали и толка большого мы в них не наблюдаем...

Приблизительно таковы были речи большинства присутствовавших рабочих. А когда я пришел на собрание — в президиуме сидели 5 человек — именно из этих вот ярых крикунов, что так отчаянно кричали два часа назад в управе.

Президиум был крайне подозрителен.

— Партийные они? — спрашиваю соседа.

— Полноте, какие тут партийные, все черносотенцы собрались.

Заседание проходило крайне беспорядочно: в толпе шумели и постоянно давали реплики.

— Господа, — заявил председатель, — на собрание пришли дать свои объяснения господин Латышев и Вас. Ив. Куражов. Желательно ли будет собранию их выслушать?

— Просим, просим, — загудела толпа.

Латышев и Куражов долго говорили о трудности закупки, о непрестанных горестях, чинимых всяческими организациями и комитетами во время закупок хлеба.

После доклада Латышеву аплодировали и, надо сказать, аплодировали дружно.

Становилось страшно, а на сердце было неимоверно тяжело.

Во время речи Латышева председатель все время смотрел ему прямо в лицо, заискивающе улыбался и сочувственно кивал головой.

Вышел говорить некто Балдинков или Дуденков, теперь уж не помню. Этот молодец социалиста Брюханова называл «господином» Брюхановым, а Куражова и Латышева, наших городских пауков, называл товарищами.

Этот молодец сделал предположение, что кооперативы сознательно саботируют дело и сознательно ведут Россию на погибель.

А председатель все молчит, лукаво поглядывает по сторонам и самодовольно ухмыляется.

Между прочим, когда Куражов спросил председателя:

— Меня сюда пригласил Совет рабочих депутатов — так? . . .

— Н. . . нет, — замялся председатель . . . — это . . . это . . . собственно стихийное собрание. — И он был прав; собрание поистине было стихийное и плоды стихийности были налицо: в президиуме сидели почти открытые черносотенцы,

совершенно доселе не имевшие отношения к общественной работе: они не знали ни Киселева, бывшего председателя Совета; ни Любимова, городского голову, деятельного работника в партии и Совете, ни Степанова, с первых дней революции проводящего фактически советские заседания...

— Вы кто?

— Я Киселев.

— А кто вы такой, ваш мандат?

— Я член управы...

Наконец, всю эту сволочь убрали. Один за другим стали выступать ораторы, старавшиеся поднять престиж революционных организаций на должную высоту. И толпа одумалась. А когда кто-то крикнул, что следует переменить президиум — толпа загудела и закричала «долой».

Всю свору прогнали.

Председателем выбрали Жиделева.

Товарищами — Вас. Петровича Кузнеца и меня, Вас. Яковлевича — секретарем.

Вновь выступавшие ораторы окончательно утвердили поколебленный было авторитет Совета и комитетов и внесли целый ряд практических предложений.

Решено было создать особую коллегию из рабочих, в которую вошли бы по два представителя от каждой фабрики и завода.

Коллегия будет работать при продовольственной управе, следить за ходом работ и оповещать немедленно на фабриках, чтобы рабочие постоянно были в курсе дела по продовольственным вопросам. Намечены три делегации:

1) во Временное правительство,

2) в Отдел снабжения при Петерб. С. Р. и С. Д.,

3) к Салазкину в Нижний,

4) на места закупок хлеба агентами кинешемского союза, чтоб на местах же убедиться, как трудно закупать, как много там всяческих препятствий и самых нежданных осложнений.

Приехав, они расхолодят рабочую массу, убежденную, что хлеба нет лишь потому, что местная продовольственная управа ничего не делает.

5—X

На следующий день собрались представители фабрик и выбрали делегации.

Через спекулянта Кузнецова решили достать беззаконно до 30 вагонов муки, на деньги собранные фабричными комитетами. Хлеб достается рабочими и только для себя.

Продовольственная управа тут в стороне.

Пришлось бежать к Витову, откуда пришли печальные вести: рабочие вышли, кричат, волнуются и не хотят посылать делегатов на совещание при управе. Пришли с Самойловым и после 20-минутной беседы убедили рабочих в необходимости выбрать представителей. Выбрали, послали.

Только что пришли от Витова, звонят и просят к Дербеневу.

Пришли туда с Балашевым, но дело оказалось ликвидированным, суматоху подняли две бабы, поругавшись между собой и втянув в брань все собрание.

Сегодня совместное заседание с фабрикантами.

Завтра продовольственная управа заседает совместно с уличными комитетами, фабрично-заводскими комитетами и общественными организациями.

Пришла телеграмма, что к Иванову двигается маршрутный поезд в 40 вагонов. И радостно и не верится. Вчера отложили даже советское заседание — все были на «стихийном» совещании.

Состоялась беседа с товарищами железнодорожниками «О социализме». Явилось человек до 100.

Слушали с величайшим вниманием. Интерес, повидимому, огромный. Этими собеседованиями только крепче спаяем железнодорожный комитет с Советом.

Да и теперь отношения самые дружеские.

А представитель полка на вчерашнем совещании определенно заявил одному крикуну:

— Знайте и помните, что как только головы черной сотни подымутся чуть повыше сегодняшнего, местный полк выступит на защиту Совета и революции. Запомните это раз навсегда.

Это сильное заявление вызвало долгие восторженные аплодисменты.

Сегодня как будто потише.

Но в общем тревожно.

В Шуе совершенно аналогичная картина: то же движение вразброд; та же гоньба на Совет и фабричные комитеты.

29—X

26 Октября

Надвинулись грозные события. Два месяца назад мы переживали такую же горячку в корниловские дни. Теперь, повидимому, дни Керенского.

Передаю только самое, самое главное. Вчера было заседание Совета. Последние дни и в рабочих массах и в полку мы подготовляли товарищей к событиям, которые можно было предвидеть с точностью до одного дня. Часов в 8 я звонил в Москву. Редактор «Известия Совета» сообщил:

«Временное правительство свергнуто . . .».

Примчался я, как оглашенный, сообщил. Неистовый взрыв радости, аплодисментов, несмолкаемых криков восторга. Словом, все то, что было при свержении Николая II.

Только диву даешься — свергнули «социалиста» Керенского, Александра IV, как говорят солдаты — и радость у всех настолько яркая, искренняя и огромная, будто свергали вампира, злейшего изо всех царей.

Пришла снова к нам уже знакомая горячка тревожных дней. Выбрали революционный штаб из 5 человек.

Между прочим я состою в нем председателем.

1) Всюду поставлен был немедленно контроль и караул. Полк с нами и целиком стоит на защите Совета.

Намечен ближайший порядок работы штаба:

2) Реквизиция средств передвижения.

Немедленно запросили автомобильную команду. Ответ получили тот же, что и в корниловские дни:

«Автомобили все поломаны» (позже оказалось, что они разобраны).

Начальником автомобильной команды является фат-офицеришка, ненавидящий Советы.

Его постановлено отправить на фронт или арестовать на месте.

3) Связь с областью.

Отовсюду запрашивали по телефону. Мы сообщали, что узнали сами.

Между прочим, поздно вечером, местный железнодорожный комитет обратился с просьбой убедить шуйский Совет снять своей контроль на станции.

От имени штаба на свой риск я снесся по телефону с Шуей, объяснил Совету, как обстоит дело с железнодорожниками у нас, как мы работаем в тесном контакте и считаем лишним свой контроль. Я предложил им снять контроль немедленно. Через полчаса местный железнодорожный комитет был извещен о том, что контроль в Шуе снят.

Забастовка почтовиков

Почтово-телеграфные рабочие и служащие прекратили работу 27-го в 10 часов утра.

Прекратили потому, что считают абсолютно принципиально неприемлемым рабочий контроль.

Мотивировали уклончиво, неопределенно; соглашались, что главная причина не в технических неудобствах, не в том, что наши контролеры мешают работать, оскорбляют и проч.

Проскальзывала мысль о том, что Временное правительство является единственной властью, и иной власти они не признают. Они частичка общего Союза, а ЦК в Москве распорядился прекратить работу немедленно, лишь только Советы поставят контроль. Они, следовательно, подчинились постановлению ЦК, подчиняясь дисциплине, исполняя профессиональный долг. Но было тут что-то другое. Несколько человек главарей, с кадетским образом мыслей, подбивали, застращивали, вели за собою остальных. Надо было торопиться и принимать экстренные решительные меры. Они предъявили свой ультиматум о контроле еще 26-го числа, обозначив срок 12 часами дня. В 3 часа у нас было советское собрание. На это собрание мы и призвали их представителей дать точный, ясный, окончательный ответ.

Представителя они выбрали, повидимому, неудачно. Многие потом от него открещивались и не считали для себя обязательными и приемлемыми его заявления. Он заявил, что:

1) поддерживает целиком Временное правительство;

2) будет работать на обе стороны;

3) будет отсылать каждую телеграмму по принадлежности, не извещая о том Совет.

На всех трех пунктах его разбили и поставили в такое положение, что он должен был признаться, что стоит не в лагере революционной демократии.

Совет был возмущен до глубины.

Приняли суровую резолюцию: «поручить пятерке принять самые репрессивные меры, вплоть до ареста».

Под репрессивными мерами можно было понимать, что угодно, если только представить себе все негодование, которое овладело членами Совета, когда он поставил все ведомство в другой лагерь.

Поручили им снестись с ЦК и известить о результатах Совет, который соберется на завтра, 27-ое в 6 часов вечера. Но почтовики, не известив Совет, кончили работу 27-го в 10 часов утра.

28-го они все были арестованы на собрании и препровождены в Куваевскую столовую под стражу.

Ночью 28-го мы пошли вчетвером, все члены «Штаба революционной организации» объяснить им серьезность положения.

Говорить пришлось, главным образом, мне.

Главной целью я поставил себе разъяснение разнородности интересов в их собственной среде. Разбил их на высших и низших, противопоставляя интересы одних интересам других и внес таким образом дезорганизацию.

В горячке советских прений 27-го многие отрицали в почтовиках демократов. Но, разумеется, они в большинстве своем такие же пролетарии, что и рабочие.

Другой вопрос, разумеется, их общественный вес, степень пролетарской сознательности и активность в революционную эпоху.

Беседа, повидимому, подействовала.

Под утро они прислали в штаб резолюцию, где указывалось, что они встают на работу в 9 часов утра, если

только мы к своему рабочему контролю позволим им прибавить свой контроль. На этом согласились, и они встали на работу.

Но беда в том, что Иваново отрезано, изолировано и работать нет возможности, кроме текущей возможной работы.

Вечером 30-го посылаем делегацию в московский ЦК из профессионального союза из 3-х членов: 1 — от почтово-телеграфных служащих и рабочих, 2 — от Совета, 3 — от Центрального стачечного комитета.

Пока на этом остановились.

Полк (199-ый пех. запасный)

Полк с нами. За несколько дней до переворота мы уже ходили по ротам и подготовляли солдат.

Полных рот здесь всего три — 11-ая, 12-ая, 14-ая. Из них вполне обучена и готова к бою одна лишь 11-ая.

27-го сместили и арестовали начальника гарнизона. Поставили нового, молодого штабс-капитана, который перед семеркой ходит на цыпочках.

27-го устроили общий полковой митинг. Там единогласно вынесли резолюцию о полном доверии и всемерной поддержке Советов.

Солдаты с нами; рабочие с нами; железнодорожники с нами. Объединились 3 огромные силы. Здесь на месте ничего серьезного не предвидится, так как по первому требованию семерки полк расстреляет толпу, идущую против Совета.

В эти последние дни близость Совета с солдатами особенно очевидна. Все время от штаба идут распоряжения в полк и распоряжения немедленно выполняются.

В полку был избран военно-революционный штаб из 5 человек.

Теперь его раскассировали и власть исполнительную (по приказу семерки) передали комиссару, который информирует обо всем начальника гарнизона.

Солдаты держатся отлично.

В городе полное спокойствие.

Чувствуется, что власть в крепких, надежных руках солдат и рабочих.

Ходят всяческие слухи, но они разбиваются действительным положением вещей.

«Штаб революционных организаций» (семерка).

Пятерка, созданная Советом была временным исполнительным органом. Она существовала всего 2 дня с небольшим — 25-ое и 26-ое.

27-го были созваны президиумы социалистических партий (максималистов, большевиков, меньшевиков, эс-эров), железнодорожного комитета, полкового комитета, городской управы, Исполнительного комитета совета.

Меньшевики и эс-эры отказались принять участие в работах нового органа. Меньшевики заявили о своем выходе из Исполнительного комитета совета.

Заявив, те и другие ушли.

В состав семерки вошли:

2 от Исполнит. комитета (Жугин, Фурманов);

1 от Городск. самоуправления (Киселев);

1 от железнодорожного комитета (Знойко);

1 от полкового комитета (Фаренкруг);

1 от большевиков (Шорохов);

1 от максималистов (Балакин).

Пятерка передала свои полномочия штабу в ночь на 28-ое.

Штаб является высшей властью в городе. В его распоряжении полном и непосредственном находятся все вооруженные силы.

Лишь только почтовики прекратили работу, мы немедленно мобилизовали свой штат из рабочих. Это была торжественная, незабываемая и курьезная картина.

Нам необходимо было установить связь Совета по городу и с Москвой.

Звоним в Центральную:

— Эй, кто там?

— Я, Синюха... А это кто спрашивает, ты что, не Дмитрий Андреевич?

— Я... я... Поторопись-ка 88 номер.

— Ладно устрою... А что у вас там, все ли в порядке, в Совете?

— Все, все, ты поторапливайся...

Слышишь в трубку, как он отойдет и начнет переговариваться с товарищем: — 88 просят... Дмитрий Андреевич говорит... Надо будет соединить...

— Вали, втыкай вон эту...

— Какую эту... Не ее, вот эту надо... Тут неправильно...

— Вот, чертополох, говорят тебе втыкай... А ты уж не бойся, я знаю... Это она самая и есть...

Долго ищут они, где ткнуть, куда нажать... Наконец, минут через 5 звонят:

— Ты слушаешь, Дмитрий Андреевич?

— Слушаю-слушаю, да поскорее вы, черти... Чего вы там копаетесь!..

— Эка, копаетесь — тебя бы посадить сюда...

— И то все время словно волчок кружусь с боку на бок...

— Ладно-ладно, поскорее, Ванюха...

— Сейчас нажму, а ты звони...

Что-то зашумит, защелкает..., звонишь...

— Откуда говорят?

— Центральная комната...

— Ванюха, ты?

— Я...

— Какого же чорта не соединяешь?

— Соединяю, да еще не вышло...

— Ну поворачивайся, брат, поворачивайся...

— Ладно, постараюсь, товарищ...

Таким образом путаешься иной раз минут 10—15. Наконец, добьешься, кончишь говорить, а Ванюха только и ждал— тут же звонит из Центральной:

— Что, поговорил?

— Поговорил, Ванюха, спасибо...

— Вот то-то и дело-то, а ты, белый чорт, все бранишься...

— Ну, прощай, прощай — мне некогда...

Таким образом идет работа.

Рабочие вынуждены хвататься за все.

Есть мысль начать учить рабочую армию почтовому, телеграфному, телефонному, а может и железнодорожному делу, чтобы в нужную минуту пустить эту армию в дело. Разумеется, в данное время нет возможности, но дело верное.

Судьи

В Совете шло заседание, когда арестовали почтовиков.

Необходимо было допросить их немедленно и оставить только главарей. Было уже часов 9 вечера. Заседание кончилось, рабочие сходили по лестнице.

В Штабе в это время вырабатывался план допроса почтовиков. Печатались вопросы.

Почтовиков всего до 200 человек. Судей тут потребуется немало.

— Товарищи, — обратился я к рабочим. — Почтовиков мы арестовали. Но большинство из них попало по недоразумению. Их надо допросить и большую часть отпустить.

— Помогайте, товарищи. Дело общее, давайте вместе и разрешать. Останьтесь здесь человек 15—20. Разумеется нужны грамотные, осторожные и прочее. Я объясню вам в чем дело.

Мигом записалось 16 человек. К тому времени вопросы были напечатаны. Я разъяснил им, как нужно вести следствие (хотя руководствовался больше здравым смыслом, а не юридическими тонкостями), как следует вести себя во время допроса. Было уже около 10 часов.

Допрос порешили снять сегодня же ночью, чтобы на утро часть выпустить.

Потом перерешили, допрос отложили на утро, а беседовать с почтовиками пошли мы сами.

О результатах переговоров я уже писал. Допрашивать не пришлось.

Но это не важно, здесь важно другое: изумительно дружно откликнулись рабочие; заявили о готовности проработать ночь, только помочь бы чем-нибудь Совету.

Взялись за дело совершенно новое, за дело ответственное.

Верят тому, кто их ведет. На этом доверии здесь построено все.

Рабочие за октябрь получили всего по 5 ф. муки, а молчат.

Иные давно бы взбунтовались. Здесь положение другое. Все держится авторитетом Совета.

Власть у Совета фактически была во все время революции, теперь она только оформлена и оглашена.

1—XI

Декрет о мире

Вы думаете, что декрет о мире был издан для начала переговоров? для съездов? конференций? новых договоров и проч.? Совсем нет.

Вы только проследите за 8 месяцев революции повседневную работу тех, которые издали декрет — и убедитесь, что центр тяжести не в переговорах, а в чем-то другом, противоположном — в восстании народов.

В этом смысле и огромное значение совершенного акта.

Мы затаили дыхание и ждем не дождемся, когда придут из «вражьего стана» ошеломляющие вести. Мы верим глубоко и непоколебимо, что там начнутся революции, что всюду уже поднялось восстание, только не дошли к нам желанные вести. Мы притаились и ждем.

Мы поставили роковую ставку, последнюю, отчаянную.

Если уже теперь не дождемся отклика извне — значит надо бросить борьбу во имя всемирного братства и единения.

Восстания будут и будут в самые ближайшие дни.

Там за окопами, всегда начинали волноваться, лишь только побеждала наша левая.

И мигом там устанавливался порядок, суровая дисциплина и холодное отношение к нам, когда правая торжествовала, как это было в проклятые июньские дни, после июльского восстания, в позорные дни Московского совещания... «Враг» терял опору, переставал верить в нашу огромную силу и становился рыхлым, податливым злому воздействию. Теперь наша взяла. Эта победа родит восстание за окопами.

Мы с трепетом, в глубоком молчании ждем этого священного взрыва негодования.

Как гром прокатится по миру повстанческая волна. Это будет пора отчаянной борьбы двух злейших врагов. Новая жизнь идет лишь по трупам борцов, плывет лишь по морям братской страдальческой крови. Пусть так.

Мы верим; мы верим, что все это уже началось, что гремят громы и всюду поднялся в гневе уставший народ. Мы ждем.

Соглашение

На 24 часа заключено перемирие между социалистическими партиями, чтобы положить конец братоубийственной бойне и столковаться о создании социалистического министерства — от большевиков до народных социалистов включительно.

Это же позор. Какое тут может быть перемирие и, что тут за «братоубийственная» бойня. Кто кому брат... Тут сошлись враги — злейшие, непримиримые враги, и они должны кончить вражду свою борьбой. Один должен погибнуть, вместе жить невозможно.

Что вы понимаете под братом... Русского?.. Брата по нации? У нас нет такого братства. У нас есть только братство по нужде. Так и скажите прямо, что вы боитесь гражданской войны, что этим «перемирием» вы хотите достигнуть мира в стране во что бы то ни стало. Если вам хочется только тишины — тогда, разумеется, вы правы, но если вам дорога народная победа — не бойтесь гражданской войны, она неизбежна, без гражданской войны мы никогда не сломим упорного, внутреннего врага — она неизбежна.

И нечего закрывать глаза на подлинную стоимость всевозможных оборонцев. Нам не по пути с ними и тут о соглашении не может быть и речи. Все должно решаться в пользу народа.

Все средства допустимы, если вы честный, бескорыстный революционер и работаете единственно для трудовой массы.

Пусть еще прольются целые потоки крови — она очищает, искупительная кровь.

Ведь, в сущности, безразлично сколько человек погибнет: один или сто. Каждый страдает лишь сам по себе; увеличение или уменьшение страданий у других — ничуть не изменяет суммы его страдания. Вместо одного будет сотня страдающих. Это неизбежно, т.-е. массовое страдание при массовой борьбе. Это и лучше, так как сознание солидарности утишает человеческую боль.

Вы боитесь гражданской войны и этим самым отвергаете внутреннюю войну вообще. Но ведь для того, чтобы прекратить внутреннюю войну вообще надо заключить соглашение со всеми воюющими. А воюющей — является буржуазия. Значит и с ней соглашение.

Нет, нет к чорту ваши мирные переговоры. Борьба должна быть беспощадной и вожди обязаны до конца стоять на крепких позициях. Если мы победим, мы не пустим буржуазию в Учредительное собрание. Что ей там делать? Что отстаивать?..

Фабрики и заводы перейдут в ведение общин, и фабрикант может поступать на работу, как всякий рабочий. Какие классовые интересы отстаивать пойдет он в Учредительное собрание? Мы не должны допускать туда буржуазию. Ведь хуже, чем рабочему, не придется жить ни одному фабриканту ни одному помещику.

А за критерий мы и должны брать рядового работника. Если считаться с доводами буржуазии, тут никакие учредительные собрания ничего не создадут. Каждому и в каждом отдельном месте хорошо известно, по какому списку проходит буржуазия. Этот список надо аннулировать.

Как будто мы нарушаем этим самым четверную формулу выборов... Выборы будут не всеобщие? Да не всеобщие. Но это в интересах трудового народа, и мы имеем нравственное право отбросить и отбрасывать буржуазию до тех пор, пока не народится и не окрепнет рабочая интеллигенция.

Буржуазии там делать нечего. Для нас не существует ее особых интересов.

«Вся власть советам»

Советы Р.С. и Кр. Депутатов по существу своему должны быть совершенно беспартийными. Как следствие, это обусловливается самим порядком выборов депутатов. Выбирает масса, а не кучка людей, именующая себя партией. А до сих пор партии на местах являются действительно только кучками, крошечными кучками работников, вокруг которых ютятся тысячи, записавшихся в партию по первому зову, не знающих программы, идущих «сражаться» за дело освобождения вообще, не связывая себя никакими партийными путами. А для партийных работников каждый мельчайший пункт программы является фетишем. И за эти фетиши они спорят бесконечно и борются с ожесточением.

В эти крошечные группы попадают интеллигенты, которые борьбу понимают чисто теоретически, спорят о словах и тормозят, таким образом, действительную работу.

В крайней левой, у большевиков, эта разноголосица еще не так приметна, здесь работа кружковая и массовая соприкасаются тесно, особенно в провинции, в захолустьи, где вождями являются те же рабочие. Но чем дальше вправо, тем заметнее становится оторванность от массы кучки вождей, составляющих союз мнений, а не союз интересов, — подобно народной массе, где объединяет нужда, горе и бедность, где словопрения не имеют цены, где подталкивает сама жизнь, а не теоретические построения.

В кружках партийных вожаков имеются элементы, связанные с народом чисто формально, по видимости, не по существу.

Совет должен отражать в себе настроение и волю массы. Следовательно, только сама масса и может выбирать работников в Совет.

А тут создалось какое-то нелепое правило: посылать в Совет представителей партии, т.-е. умышленно засаривать и тормозить работу Совета.

Эти партийные делегаты — заядлые теоретические спорщики.

Они отнимают массу драгоценного времени и борьбу за народное дело сводят всегда на борьбу за программные пункты.

Партийные представители должны быть удалены из Совета как таковые.

Ясное дело, что этим не исключается возможность фракционных делений в самом Совете.

Это даже неизбежно, если хотите. Но, выбранные массой, перед массой и отчитываются, а партийные делегаты отчитываются лишь перед кучкой своих единомышленников.

Масса не простит своему посланнику бездеятельности, а партийная кучка отблагодарит своего делегата за стойкое и неуклонное отстаивание отдельных пунктов программы.

Как видите, разница огромная.

В одном случае делегат посылается на живое дело, в другом на бесплодные словоизлияния.

Партийные представители, как таковые, должны быть удалены из Советов немедленно.

Именно по этим причинам съезды советов — областные, районные, губернские — бывают настолько уродливы, что только диву даешься, как мог создаться такой синклит утишенцев в самом, положим, боевом районе.

Действительно. Партийные делегаты в большинстве случаев хорошие болтуны, красноречивые ораторы.

А выбирают чаще именно по степени ораторского таланта.

И на съезд боевого района съезжаются мирные оборонцы, выносят резолюции и извращают таким образом мнение своего района.

Подобное явление можно констатировать и на всероссийских съездах, где партийная борьба доминирует над борьбой за насущные интересы народа.

Вся власть советам — это и должно означать власть народным избранникам, а не партийным представителям.

В этом смысле конструирование власти по принципу партийности является сущей бессмыслицей.

Пусть в известном районе преобладают меньшевики или эс-эры — важно, чтобы они отражали подлинное настроение представляемой ими массы.

Приветствуя победу большевиков, мы приветствуем не отдельную партию, а трудовой народ, который, не разбираясь в тонкостях программы, идет за теми, которые смелы и решительны, у которых имеется одна определенная цель — достижение максимума завоеваний в данный революционный момент.

С точки зрения устремления трудового народа к достижению максимума, мы близки к большевикам и не считаем нужным и возможным в такие решительные моменты отвлекать внимание масс на нашу программную рознь, тем самым распыляя и раздробляя народную силу.

Массовое движение не руководствуется программными пунктами (это удел одних лишь партийных верховодников), но является стихийным устремлением к победе вообще. А раз так, мы и должны его использовать не в программном, а лишь в организационном отношении.

Наша задача сводится к объединению и уплотнению поднявшейся массы, движимой единственно нуждой, имеющей полную общность интересов.

Вот почему мы и приветствуем победу, победу трудового народа, совершенную самим же народом при помощи смелых и решительных большевистских вождей.

В большевистских рядах сомкнулась самая бедная, нуждающаяся часть трудового народа.

Мы работаем для трудовой бедноты. Поэтому любую партию, защищающую трудовой народ мы будем приветствовать и поддерживать всемерно.

Теперь не время спорить о программных пунктах.

Революции не повторяются ежегодно, тем более такие революции, как наша, когда условия сочетались всецело в пользу трудового народа.

В подобные моменты необходимо использовать все меры максимальных достижений, необходимо применить все имеющиеся средства для окончательной победы.

Данный момент именно таков, что народ закрепил за собою власть в стране.

Борьбу теперь следует направить по пути устранения всяких возможностей возврата к старому, хотя бы и подновленному в европейском стиле.

В борьбе за народ, за его лучшую долю возможны и допустимы все средства борьбы с исконными и случайными врагами.

Теперь не время миндальничать и растабарывать о законности и беззаконности средств.

Пока трудовой народ сам не написал себе законов — для нас закона нет.

Освобождение и счастье народа — настолько огромная, бескорыстно-чистая и святая цель, что она оправдает все средства, которые были применены для ее осуществления.

История и мораль оправдают все меры, которые мы применили теперь, в героическую эпоху самоотвержения и страстной преданности делу освобождения угнетенного народа.

Когда дикие турки расколачивали о камни болгарских детей, насиловали женщин и сажали на острые колья невинных мучеников, мы благословляли своих добровольцев на самую жестокую и беспощадную борьбу с мучителями.

Тогда не задумывались над средствами, не толковали о законности и беззаконности, ибо ясна была для всех несомненная мысль о неизбежности жестокой расправы с насильниками.

Почему же теперь, когда мы боремся за свой угнетенный народ, недопустимы те меры, что допустимы были в борьбе за страдальцев-болгар.

Сущность дела одинакова и меры борьбы должны быть также одинаковы.

Чтобы легче было властвовать над угнетенным болгарским народом, турки применяли хитрое и верное средство: они владение над целыми округами передавали в руки знатных болгар, развращали их окончательно привилегированностью и чрезмерной властью и таким образом под видом самоуправления преподносили несчастному болгарскому народу самую тонкую и самую мучительную форму истязания и порабощения.

Эти знатные болгарские роды, вольно и невольно попавшие в цепкие руки турецких властей, становились злейшими врагами своих угнетенных собратьев.

Эти знатные болгарские магнаты, привлеченные подкупами, угрозами и привилегиями в турецкий стан, отрыва-

лись от родного народа и становились в ряды его злейших, открытых врагов.

Поэтому борьба против турецкого ига была всегда для болгар и борьбою против своих сородичей-угнетателей.

Не бросается ли вам в глаза полная аналогия наших дней с эпохою борьбы болгарского народа за свое освобождение?

У нас также имеется открытый враг, стоящий на другом берегу — буржуазия. И также имеются у этого врага свои приспешники, помощники и защитники с печатью народных друзей и с сердцем народных недругов.

Они не подкуплены, но идут вместе с теми, которые сильны подкупом; они не запуганы, но идут вместе с теми, которые жили насильем и угрозой целые века; они не бьются за привилегии, но поддерживают тех, что всегда сверху вниз смотрели на трудовой народ.

Я говорю о «кротких» социалистах, о тех, что вместо солнца стали молиться на луну — будничную, тусклую, бледную луну.

С ними у нас не может быть ни единых целей ни общего труда. Социализм прикрывает их как святыня, и многомесячная борьба воочию показала, что он для них — не цель ближайших конкретных достижений, а маяк, затонувший в беспросветной мгле бесконечного будущего. Система борьбы у них настолько двусмысленная, что оправдывает блок с врагами народа кадетами, как то случалось неоднократно в московской городской думе.

Они открыто предадут нас, а вместе с нами и трудовой народ. В лучшем случае они будут тормозить ход работы и подрывать народное доверие к своим могучим организациям.

Мы решительно отвергаем даже самую мысль какого бы то ни было общения с ними.

Они, революционеры на словах, смертельно перепугались, когда пришлось быть революционерами в живом деле.

Перепугались гражданской войны, репрессий, перепугались террора.

Гражданская война — не братоубийственная бойня, ибо сходятся на бой здесь не братья, а вековечные, непримиримые

враги. Надо быть слишком доверчивым и наивным, чтобы успокоиться на затишьи в стане буржуазии.

Она слишком умна и осторожна, она слишком дальнозорка в оценке момента и на рожон никогда не полезет.

Медленно и верно собирает и сплачивает она свои силы, чтобы если и пришлось уже выступить, то выступить во всеоружии.

До сих пор она верила, что революция буржуазная, что пройдут эти клокочущие дни и месяцы и народ, усталый и бессильный, сам предложит ей, буржуазии, полноту управления государственным кораблем.

Но вот в Октябрьские дни, симптомы социальной революции объявились во всей сокрушающей силе. Дальше у буржуазии не могло оставаться сомнений.

Она поняла, что поставлена окончательная ставка, что решается кардинальный вопрос революции: быть или не быть.

Раз так, надо принимать открытый бой с открытым врагом. И буржуазия выдвинула те силы, что сумела и успела собрать под свое крыло за 8 революционных месяцев.

А сама, разумеется, спряталась в кусты. Она труслива и подла, как всегда. Она вечно прячется за чужой спиной. Оглянитесь, где буржуазия? Она в паническом страхе рассыпалась по градам и весям, бросив на произвол и семьи и фабрики, заводы и земли. Она разбежалась.

А приспешники, подкупленные или обманутые, выступили с оружием в руках защищать свою покровительницу — буржуазию.

Кто же был в рядах ее защитников? Да все старые наши знакомые друзья и защитники Корнилова, открытые враги трудового народа.

Во-первых, юнкера — это бесформенное тесто, замешанное на фальшивой чести и фальшивом понимании долга.

Во-вторых, «ударные» и «женские батальоны» — чудовищное и нелепое порождение войны, обусловленное, с одной стороны, жандармским патриотизмом, — с другой, — несознательностью и неразвитостью вошедших в батальоны членов.

Третьей силою были казаки: казаки-помещики, казаки — отцы нагайки, но не те, что с первых дней революции слились с народом.

Надо думать, что были гренадеры, была кавалерия, была и дикая дивизия. Во всяком случае они были наготове. О них молчали и не писали, но это, разумеется, совсем не значит, что после корниловских дней они из ярых врагов трудового народа перекрестились в его пламенных друзей.

Была схватка — жаркая многодневная, кровопролитная. Народ боролся с вечным, заклятым врагом.

И народ победил.

Было много случайных, невинных жертв; много обманутых стояло в рядах народных врагов, когда им нужно было бы итти вместе с народом; много было напрасной взаимной жестокости — все было. Но такие перевороты не могут совершаться мирно. Здесь неизбежны и невинные жертвы и друзья, случайно попавшие в стан врагов и бесславно погибшие на позорном посту. О них можно сожалеть, об этих невинных жертвах, но останавливаться перед ними невозможно. Если бы революция останавливалась перед жертвами, она никогда не была бы победоносной. В такие моменты, помимо личной отваги и самоотвержения, особенно ценной является способность холодного взвешивания фактов; способность открыто и смело ставить вопрос: что перевесит: сумма жертв или грядущее народное благо.

И смешными поэтому кажутся проклятья и стоны фельетонистов закрытых газет (кстати сказать, получивших от буржуазии колоссальные деньги), стоны о том, что социалисты нарушают один из основных пунктов собственной программы: свободу печати.

Да разве мыслимо было в этот критический переходный момент выпустить на волю всю эту массу подлости, хитрости и безоглядочной клеветы на трудовой народ? Холодно взвесив факты, необходимо было потянуть за ту чашку весов, где трудовой народ. Это в его интересах совершены псевдо-репрессии, это не личные хотения отдельных личностей или групп. Интересы народа требовали именно этого срочного, решительного шага.

Когда идет борьба за освобождение всего трудового народа, не может быть речи о сохранении интересов какой-то ничтожной кучки народных врагов. Они должны быть не только пришиблены, но и раздавлены окончательно, как гнездо трусливых и кровожадных тарантул.

Логически неизбежен и необходим террор. Народные враги, пораженные в открытом бою, поведут медленную и верную борьбу изподтишка, втихомолку подтачивая народную силу и народное достояние или подымаясь временами открыто против уже достигнутых народных завоеваний.

Чтобы сократить количество народных бедствий, необходим террор для народных врагов. Живое слово убеждения может достигнуть результатов лишь в среде обманутых, или запуганных, приставших случайно к полчищам народных врагов. Но сами враги над этим словом убеждения могут в лучшем случае поглумиться, как над смешной и нелепой затеей. Здесь слова не помогут. Нужны действия — короткие, прямые и верные действия. Буржуазия — подла и труслива. Она боится суровых кар и живо сдаст укрепленные позиции. Она не привыкла кровью, тюрьмой и страданиями отстаивать свое дело. Ей все давалось даром. Поэтому террор, как мера устрашения и принуждения в этой трусливой среде, всегда достигает желанных результатов.

Достаточно было какому-то видному чиновнику посидеть два дня в питерском клоповнике, чтобы на третий он согласился встать на работу и поставить с собою весь департамент.

Наша революция — социальная революция. И как всякому глубокому перевороту, этой революции присущи все методы и формы достижения ближайших, конкретных целей.

Если мы в такой великий решающий момент остановимся перед мерами достижения, мы рискуем из-за деревьев не увидеть леса, споткнуться о какой-нибудь проклятый, проржавевший пень и сломать себе же здоровые ноги.

13—XI

«Штаб революционных организаций»

Штабу приходится выдерживать на своих плечах неимоверную работу. Я уже не говорю о времени, мы целые дни в Совете, едва только успеваем сбегать отобедать.

Целые дни, а посменно и ночи, ни единой минуты штаб не остается без дежурного.

Количество рабочего времени еще можно было бы принять, если бы только работа соответствовала наличным силам.

Но приходится нести ведь совершенно непомерную тягу. Я не знаю, какой только вопрос не касается теперь штаба. Нам приходится быть универсальными, ибо нет специалистов, по которым можно было бы распределить различные отрасли выполняемой нами работы.

Укрепление наших завоеваний, борьба с темными силами, успокоение рабочих масс, борьба со спекуляцией, продовольственный и мануфактурный вопросы, организация Красной гвардии, реорганизация милиции и уголовно-розыскного отделения, борьба с хищнической порубкой леса; всемерная поддержка все еще продолжающейся стачки; поддержание контактной работы общественных организаций; снабжение рабочих оружием; выработка подготовительных мер и плана захвата рабочими фабрик; борьба с саботажем почтово-телеграфных служащих; заботы о пополнении банковских касс; регулирование внутренней жизни в городе...

Да ведь их безмерное количество — отраслей нашей работы. А вести работу, в сущности, приходится лишь троим-четверым.

Остальные только для виду и ни советом ни делом работу не облегчают.

Одни добросовестно молчат, потому что решительно ничего не понимают во всей этой сложной и трудной работе; другие трещат без толку и охотно пускаются в россказни о личных впечатлениях и случаях текущего дня.

Трудно. Непосильно трудно. И как же тут не ошибаться, когда вчерашнему молотобойцу или ткачу сегодня приходится быть юристом, судьей, законодателем и всем, чем хотите.

Вполне естественно, что порою мы окончательно встаем втупик; но встав втупик, никогда беспомощно не опускаем рук и не отливаем своего бессилия в форму проклятий, бесплодных сожалений и вредной мечты. Нет, мы откладываем невозможное на произвол судьбы и беремся за то, что по силам и по уму.

Нельзя сказать, что работа отбилась окончательно, что она совершенно выпала из рук. Нет. Мы крепко держимся на завоеванных позициях; мы пяди не сдаем назад, только вот строить новые укрепления не всегда удается, ибо строить совершенно некому.

Один товарищ (Шорохов) чистосердечно признался:

— Если бы, — говорит, — подыскался кто-нибудь сменить меня, я ушел бы с великой радостью.

— Вы совсем хотите устраниться от работы? — спрашиваю его.

— Нет, зачем устраняться. Я только хотел бы встать чином ниже, ибо чувствую, что работа мне не по силам, что не гожусь еще я, не дозрел до такой большой ответственной работы. Мне бы что-нибудь попроще, где мог бы я проявить свою действительную силу рядового и добросовестного работника . . .

И это говорил один из самых упорных и добросовестных работников.

Он не любит пустых слов, говорит мало, но сильно. Он много пострадал, много поскитался по белому свету, повидал немало горя и нужды и теперь на склоне жизни пришел сюда, в огненное горнило, где похоронена была невеселая юность, пришел служить брату-рабочему, помогать в отчаянной и трудной борьбе.

Естественная смерть «штаба революционных организаций».

Фактически он уже умер — «Штаб революционных организаций». Он выполнил свою боевую роль в первые дни Октябрьской революции и притих.

Теперь, когда нужна не только борьба с врагами, не только усмирение и первоначальное утверждение завоеванных позиций, когда нужна работа планомерная, созидательная по существу, не катастрофическая по форме, теперь вполне естественно видеть, что функции штаба мало-по-малу переходят к Исполнительному комитету. Назавтра поставлен вопрос о распределении функций между этими двумя органами, а может-быть и об окончательной ликвидации штаба. Горячка первых дней прошла.

Разумеется, это совсем не значит, что вообще миновала опасность, что теперь можно почить на лаврах.

Ликвидация штаба отнюдь не призыв к полному успокоению. Но уже миновала пора, когда необходимо было всю силу власти сосредоточить в руках крошечного коллектива— подвижного, решительного, немноголюдного.

Надо утверждать и выше подымать авторитет Совета.

Штаб — что пустой звук.

Минует острый период и с ним умрет штаб. А Совет останется жить. Он по-старому будет сердцем рабочей массы.

И его авторитет надо подымать как можно выше.

Мы уже подобны снова осенним мухам. Понемногу все еще трепыхаемся, ищем живого, большого дела, а его уж нет. Т.-е. нет чего-либо выходящего из ряда вон...

Работы много, но работы планомерной, будничной, неяркой. Этой работы всегда вдоволь.

Мы ищем по привычке чего-то выдающегося, а выдающегося нет. И чем скорее, тем лучше надо слить воедино штаб и Исполнительный комитет совета.

28—XI

Герой нашего времени

В этом фельетоне говорится про меня. И рассказываются такие вещи, про которые знают всего 2—3 знакомых. Я думаю, что писал Майоров, а материал ему дал Авенир, так как с Авениром у нас была беседа и про Кавказ и про стихи. Одно стихотворение даже помещено было им в «Зеленом Шуме». Словом тут повинен Авенир.

За это, если бы узнать окончательно, я возненавидел бы его, как старого предателя.

То, что передано в интимной беседе, несколько неудобно из-за партийных разногласий, отдавать в газету...

Но почему меня не взяло зло от самого фельетона? Почему он не уязвил меня, хотя и был написан исключительно с этой целью. Да потому, что все сказанное в нем — правда. Только правда эта представлена в смешном свете, рассчитана на хохот читающего, на полное изничтожение самого героя.

Но что останется от этого фельетона, если я сам отвечу искренно на все поставленные здесь вопросы. Ведь я лукавить не буду, я откровенно расскажу правду о себе.

1) Упоминается про «томик стихов» — абсолютно ничего дурного здесь не вижу. Кому дорога поэзия, тот сотни и сотни раз открывал эти томы и томики; вздыхал, грустил, страдал и радовался вместе с ними, вместе с ними и засыпал...

2) «Одинаково служивший прежде пролетариям и буржуям, Морфей теперь явно саботировал».

Только почему Морфей? Ведь Морфей — бог сна. Как же он мог вообще кому-либо служить. Может-быть, автор хотел сказать Муза или Орфей. Словом, хотел назвать кого-либо из причастных к поэзии богов. Это еще можно было бы понять: дескать, прежде писал совершенно нейтральные стихотворения, а теперь и они не удаются — Муза, мол, саботирует. Ну, это все-таки второстепенное.

А вот относительно буржуев и пролетариев следует поговорить. Да, прежде мы жили как птицы небесные и до революции не знали даже, какие там существуют партии и какая там имеется классовая борьба. Мы решительно ничего не знали — мы, что стоим теперь у кормила правления. А что же с остальными, которые и до сих пор не прикоснулись к живой жизни. Они ведь и теперь не знают ничего, потому и смотрят на борьбу с мещанской точки зрения. У меня есть товарищ, он выставлен теперь кандидатом в Учредительное собрание, выставлен на 5 месте по списку меньшевиков и, может-быть, пройдет. Ведь тогда уж соберется самый цвет революции, туда придут не только борцы, но и созидатели. Там нужны большие познания, нужен большой многосторонний опыт. А он, мой товарищ, до революции сам не знал ни партии ни извечной борьбы. Но я радуюсь, что он теперь вознесен на гребень революционной борьбы, потому что ни на секунду не сомневаюсь в его высокой честности, в бескорыстной преданности народному делу. Пусть он иначе понимает эту великую борьбу; пусть ищет иные пути, но мы думаем с ним об одном, за одно боремся и, может-быть, будем страдать. Я уважаю и чту его, как честного, бескорыстного труженика на пользу народа.

Но ведь прежде он тоже служил одинаково пролетариям и буржуям. У него есть дядя миллионер, и у этого дяди он

занимался с детьми, обедал, чаевничал, словом был свой человек. Теперь, если бы все повернулось по-старому, — я уверен, что он не пошел бы к дяде миллионщику. А ходил потому, что решительно не понимал ничего в политической борьбе. Так чем же были мы все виноваты, что не попали работать в подполье?

Многие из нас даже и не слыхали об этой неумирающей, подземной, святой работе. Ясно, что мы не прикоснулись к ней только по незнанию, а не по каким-либо иным причинам. Напр., скажу откровенно о себе: не мог бы я с таким горячим темпераментом удержаться в какой-нибудь умеренной группе.

Я оставил бы все, — работу, университет, как оставил их теперь, если б только представлял себе ясно всю великость и значительность борьбы. Я же ничего не знал, потому что узнать было неоткуда.

Если рабочий никогда не услышит и не узнает правду о движении небесных светил, разве вы будете винить его за это? Не вините и меня, нам неоткуда было узнавать...

И правильно говорит мой зложелатель, что Муза (Морфей) моя одинаково служила буржуям и пролетариям. Я даже не представлял себе ясно эти два класса и раскалывал людей на два лагеря по совершенно иной линии: хороший человек был хорош для меня безотносительно к классу, безотносительно к своему происхождению.

У меня не было заклятых врагов, с которыми борьба неизбежна. Я слишком верил в честное убедительное слово и думал, что словом можно повернуть весь мир.

Если в этом находите мою вину — судите. Только знайте, что таких нас было 99 на сотню.

Отдельные счастливцы-мученики и тогда работали в подполье, — слава им старым работникам, но когда-нибудь и они ведь были молодыми, когда-нибудь и они делали первый шаг по пути страданья за народ. Так неужели тогда глумились над первыми, неуверенными их шагами? Нет, тогда силы ценились дороже, и я думаю, что поседелые в работе с восторгом смотрели тогда на юных помощников, радовались их приходу, жали им по-товарищески крепкие, молодые руки.

Мы этого мучительного счастья не узнали. Мы не видели подполья и в нем не работали.

Но не глумитесь же теперь над нашим пробуждением.

Мы еще слишком юны и, может-быть, сумеем доказать свою преданность угнетенному народу. Мы теперь ненавидим желтую прессу и боремся с писаками «Русского Слова». Мы даже прекратили у себя в городе продажу этих газет.

И я понимаю, что вы очень ко времени, мой недоброжелатель, упомянули о сотрудничестве моем в «Русском Слове».

Но знаете ли вы, что это было за сотрудничество? Я там всего на всего поместил один крошечный очерк: «Братское кладбище на Стыри».

Вещь совершенно безобидная, очерк художественный и каких-либо симпатий или антипатий политических совершенно не отражает.

Да ведь художественные вещи в «Русском Слове» помещал и Максим Горький. Куда же было деваться в ту пору. А Максима Горького разве мыслимо причислить к сонму буржуазных писак? Так что чего-либо «разоблачающего» я здесь совершенно не вижу.

3) «Мечты о литературной славе...».

Да, были они, мечты о литературной славе. Да и теперь они лишь потому притихли, что некогда мечтать.

Захватила и унесла меня революционная волна. Разве тут есть что-нибудь смешное, когда даже самый маленький поэт думает прогреметь на весь мир? Если хотите — это неизбежно присуще каждому мечтателю, особенно поэту. «Каждый солдат должен верить, что рано или поздно он будет генералом».

Так что и в этих мечтах ничего для себя обидного не нахожу.

4) «Пленительный Кавказ, стихи, любовь...».

Об этом я часто мечтаю и люблю подолгу останавливаться мыслью на дорогих воспоминаниях. Для вас, г. злюка, это ведь пустые слова, ничего не говорящие ни уму ни сердцу; а для меня здесь целая эпоха жизни с богатейшим содержанием, полная чудных, поистине пленительных картин.

Того богатства переживаний, что было у меня на Кавказе, никак нельзя назвать фактом отрицательным. Я про Кавказ вспоминаю с любовью, с трепетом духовным, с сердечным замиранием. И не вам говорить о Кавказе... Сначала полюбуйтесь на него, а потом богохульствуйте.

Там расцвела любовь.... Но какое вам дело до моей личной жизни? Мы теперь судим друг друга по степени ценности в работе общественной. А какое же имеет отношение к общественной работе моя любовь. Странный, мелочный и недалекий, повидимому, вы человечишко. Не люблю я таких комаров: подкрадутся, подлетят втихомолку и крошечным жалом начинают понемногу высасывать горячую кровь... Все это за спиной, негласно, а на людях и руку тебе подают и разговор заводят по-приятельски. Скверно, нечестно, подло-трусливо.

5) «Почувствовал, что он чистокровный эс-эр».

А как же иначе, спрошу я вас? Как же вообще вступают в партию? Да вспомните, как вы некогда вступили в эс-эровскую партию. Вы думали, взвешивали, узнавали, расспрашивали... А когда в общих чертах разобрались, — тогда только, разумеется, и вступили в партию?.. Так именно было и со мной, да так должно быть и со всеми. «Страна левела». Да, страна левела, только вы вот до сих пор являетесь каким-то анахронизмом. Ну что значит теперь оборонец? Теперь, когда почти объявлено всюду перемирие. Вы какое-то недоразумение, и это уж ваша собственная вина, что «страна левела», а вы правели, что вы не поняли знамения времени. Вначале, только что записавшись в партию, я не мог еще предвидеть, какой она будет держаться тактики в эту революцию... У меня перед глазами стояли образы Сазонова, Балмашева, Марии Спиридоновой и многих, многих страдальцев-революционеров.

Позже, в революционной работе, я увидел, что с правыми оборонцами итти нога в ногу абсолютно немыслимо. А близость к максималистам заставила нас целою группой уйти из местного эс-эровского комитета.

Между прочим скажу, что на второй конференции максималистов было зарегистрировано довольно много подобных случаев, когда максималисты выделялись из эс-эровской группы в самостоятельную.

И вообще скажу о переломе сознания, что с психологической точки зрения это вещь почти необъяснимая, катастрофическая, стихийная. Предпосылки, разумеется, должны быть в наличии, но самый момент перелома — непостижим.

Помню, как сам я внезапно, совершенно неожиданно для себя ощутил и осознал в себе в единое мгновение интернациональное устремление, которое вот уже целые месяцы руководит всею моей работой.

6) Небезынтересен вопрос и относительно моей работы в Совете.

Если хотите, я попал туда наполовину случайно, но только наполовину. Я думал вообще работать при Совете, но работать лишь в области культурно-просветительной. Иной работы я еще не представлял себе вначале. Но вся советская работа спаяна в единое целое и делая одно — никак не обойдешь другое. Так случилось и со мной.

Культурно-просветительная работа втянула меня в работу обще-политическую, и в этой работе мне захватило дыхание. Вы спрашиваете, что у меня общего с рабочими?

Революционное сознание, отвечу я. Бескорыстная борьба на благо трудовому народу никогда не может считаться недостойной, как бы ошибочна она ни была. Можно указывать, можно поправлять, но глумиться над тем, что я иду с рабочими, по крайней мере, глуповато. Здесь проскальзывает зависть и больше ничего. Оборонцам рабочие затыкают глотку и прогоняют с собрания.

Вот вам и отгадка злому выпаду. Много товарищей-студентов шляется попусту совершенно без дела, и никто из них не идет в ряды трудового народа. Мы бедны силами — это хорошо знаем и сами. Но у нас много смелости и революционной решительности. Одним этим не победишь, но и без этого не победишь.

А интеллигенты прибывают, хоть медленно, но прибывают. И характерно то, что, познав советскую работу, прикоснувшись к ней вплотную, человек словно перерождается и уходит к левому крылу. Туда его толкает сама жизнь, если только не держат в тисках иные партийные цепи. Вот и все ваши «улики» против меня. Я ответил чистосердечно, искренно, за что же теперь вы будете обвинять меня? В сущ-

ности ни одно обвинение не устояло, потому что это были даже и не обвинения, а извращение и содомное глумление... Этим нас не обидишь. Это уж не первое нападение. Но я молчу и своим презрением и брезгливым невниманием, надо думать, заставлю примолкнуть и вас.

Когда ребятишки начинают дразнить, самое лучшее не обращать на них никакого внимания. Они угомонятся, ибо протест их только разжигает понапрасну. Именно таким же образом думаю я поступить и с вами, седые и тучные младенцы.

Максималисты.

Начали изучать политическую экономию. Две беседы уже состоялись. Только заняты все ребята, и половина не берется совершенно за книгу.

Поднят был также вопрос о вооружении. Но денег на оружие в комитете нет, а достать бесплатно не представляется возможным.

Постановили обратиться в Красную гвардию, заявив, что мы в нужную минуту придем на помощь своею особой боевой дружиной. Приходится думать одновременно и о гриме, о паспорте, о костюме, о деньгах. Дело может всяко повернуться, а жизнь понапрасну не стоит отдавать. Необходимо приготовиться заблаговременно ко всем защитительным мерам, необходимо разучить и азбуку подпольной работы.

СОВЕТ

29—XI

Тому, кто не работает в Совете в наши великие дни строительства и коренной ломки, не понять никогда всей трагичности нашего положения. Декреты, действительно, пекутся как блины; они, действительно, не проводятся в жизнь и остаются только бумажками. Но вы разберитесь, почему они не осуществляются, почему остаются бумажками?

За ними остается огромное тактическое значение, как импульс к революционной работе; за ними и с ними сочувствие многомиллионных масс бедноты, за ними сила. Но сила количественная, а при проведении декретов в жизнь нужна сила качественная. Ее нет, она не с нами. И в этом наша трагедия. Но кто будет осуществлять на месте органы рабочего контроля? Кто будет производить всевозможные учеты, отчеты и прочую радость? «Мы все почти безграмотные», — сказал мне вчера один из лучших работников Исполнительного комитета. Из 25 членов Исп. комитета у нас только один интеллигентный работник, недоучившийся студент т. Фурманов.

Совет теперь является высшею властью на месте. И неизбежно его работа возросла во много раз. С фронта массами возвращаются солдаты-рабочие и требуют, чтобы их приняли на старые должности, а места нет.

Станки, правда, пустуют, но нехватает сырья, нет топлива.

Ну, предположим, что через 8—10 дней созовется областная конференция фабрично-заводских комитетов и советов, но что же теперь-то нам делать, а солдаты ведь приходят каждый день и чем дальше, тем больше.

Вот фабриканты отказываются выдать рабочим аванс, хотя фабрики и пошли в работу. Что будете делать? Фабриканты утверждают, что денег у них нет и достать пока негде, так как государственный банк временно приостановил выдачу. Что ж, постановили из имеющегося запаса мануфактуры продать на 250—300 тысяч рублей.

Из различных мануфактурных и продовольственных управ, из волостных, уездных и губернских, из войсковых частей, со штемпелями комитетов, союзов и советов являются к нам посланники за мануфактурой. А у нас постановлено никому не выдавать. Происходят недоразумения. Эти недоразумения неизбежны по существу дела, но они усугубляются стократ неумением объясниться и растолковать, мы сами же в этом повинны. Вынесет Совет какое-нибудь постановление, а в жизнь проводить его некому. Так и чахнет не распустившись. Ушли, не пришли к нам интеллигенты. Продали, проклятые, дело революции и не хотят помогать одинокому, темному народу.

А сколько дела, сколько дела — только за голову схватишься, да так и застынешь. Мы все страшно изнервничались, смертельно устали и скоро быть-может возненавидим друг друга, вместо того, чтобы возлюбить, как товарища по агонии. Сегодня, когда все наше бессилие встало воочию, когда ясно стало всем, что без сторонней помощи, при любом максимальном напряжении, мы сделать многого все-таки не сумеем, нехватило у меня терпенья, ушел с собрания, заперся в отдельную комнату и заплакал.

Слишком стало горько, что подлецы-интеллигенты, которые будут пожинать плоды нашей работы и нашего мученичества, что они, от которых зависит теперь скорая и окончательная победа или долгая отчаянная борьба, они не идут помогать нам, измотавшимся и одиноким. За недостатком времени мы уже не можем теперь так же часто беседовать с рабочими, как беседовали прежде. Нам абсолютно некогда, и рабочие видят, что их как будто забывают. Одних это беспокоит, а другим на-руку — они, пользуясь нашим отсутствием, начинают подбивать массу на решения, несходные с советскими решениями. Получается ералаш и ералаш опасный, ибо последствия могут быть самые неожиданные и самые печальные.

30—XI

Мы, члены Исполнительного комитета, до вчерашнего дня получали 150 рублей в месяц. Вчера на советском собрании увеличили вдвое. За каторжную нашу работу, кажется, не стыдно было бы взять и 500 рублей, а все-таки сами мы постановили ограничиться 250. Платы, разумеется, нехватает, и все мы запутались в долгах, проводя целые дни в союзе и не имея стороннего заработка. Такой каторжной работы мне еще никогда не приходилось выносить на своих плечах.

Мы работаем, главным образом, для рабочих, для бедноты, для трудящихся. И наше горе не в том, что много работы, что устаем — не в этом беда.

Но те, которых мы защищаем, за кого боремся с опасностью для жизни, они нас не понимают. Нам еще при-

ходится их убеждать, что работаем мы для них, а не для себя, что рабочие организации необходимы, что без организации они сами погибнут... Вот примерная речь обороняющегося оратора:

— Товарищи! Ну, что вы делаете, что вы говорите? Подумайте только, что вы говорите и в какую бездну толкаете сами себя. Вы голодны, вы устали, измучились, а мы— мы, идущие впереди вас, что же мы сытые, что ли? Мы получили за октябрь те же 5 — 6 фунтов, что получили и вы. До сих пор мы изумлялись вашему долготерпению, вашей организованности... Мы также исстрадались и устали, но от работы все-таки не уходим, мы до конца решили остаться на своих мучительных постах. Как вы сами-то думаете, что нас держит на этих постах?

«Ведь мы кипим словно в адском котле. Так не лучше ли было бы нам бросить эту работу и уйти на другое дело. Заработка, что ли я, например, не найду; наоборот, я служу бескорыстно, я на стороне могу заработать в 2—3 раза больше, чем зарабатываю здесь. Да и кто меня удержит? Скажу вот завтра, что не хочу работать — и баста. И долой из этого котла. Больше буду зарабатывать и жить буду совершенно спокойно. А я все-таки не иду и не уйду, пока вы сами не отзовете меня из Совета. Так поймите же, что работа наша совершенно бескорыстна, она направлена единственно и исключительно на вашу пользу. Ну, если мы не хороши — отзовите; выберите других, идите сами — с богом, мы уступим вам свои мученические посты, — только оставьте свои рабочие организации, не уничтожайте их... Вот в чем вся надежда наша на победу. Состав и в комитете и в Совете может быть неудачным.

«Против этого мы не говорим. Переизберите, пошлите туда более надежных, пошлите хороших работников, но сами-то организацию храните.

«Храните, товарищи, или знайте, что рабочее движение обречено на гибель, как только прикроются ваши организации. Знайте, что темные силы не дремлют, это они подбивают вас на такое страшное дело — это ваши убежденные враги и подкупленные негодяи — вот, кто кричит о необходимости разогнать рабочие организации. Доверяйте Совету. Он настраже ваших интересов. А из комитетов словно из

гнезд, слетаются в Совет ваши же посланники; там они заявляют о ваших нуждах. Многое нам, товарищи, не удается; многое не по силам тяжело, не по уму сложно; во многом мы ошибаемся. Что ж, судите — от этого мы и сами не отказываемся. Судите и указывайте, как надо делать — за это поблагодарим. Но не вините, потому что нас винить не за что. Мы работаем для вас, и эту мысль необходимо, наконец, усвоить, а усвоив запомнить, что ошибающемуся товарищу нужна братская помощь, дружеский совет, а не брань, не крики обвинения, не угрозы. Угрозами делу не поможешь. Да и не запугаешь нас, слишком много этих угроз слышим мы каждый день и со всех сторон.

«Подумайте над этим и помогайте нам по-товарищески, иначе работать в одиночку становится непосильным».

Вот примерная речь.

И один только бог знает, как много приходится тратить времени на уговоры своих же товарищей, на уверения, что мы им друзья, что не воры какие-нибудь, что работаем на их пользу и т. д. и т. д.

Времени понапрасну пропадает больше половины. А время теперь так дорого.

Вот привалила толпа с биржи труда: давай работы. А где мы ее возьмем? Куда мы денем эти 2½ тысячи числящихся за биржей? Производство ведь не раздвинуто, оно даже не переходит на мирный порядок, оно все еще в том же хаотическом состоянии, что было и прежде. Что делать? Надо организовать общественные работы. Но ведь это легко сказать. А где вы денег, например, возьмете?

В банке хотя и поставлен наш комиссар, но этим еще дело не оканчивается, — деньги взять не штука, да будут ли они поступают-то сюда регулярно. Вот запятая-то в чем.

Рабочим выдают грошевые авансы, да и то не на всех фабриках.

Стачка кончилась, на работу встали, а о минимуме ведь до сих пор ничего неизвестно. Согласительная комиссия мнется на одном месте и к нам пока доходят только глухие слухи, что минимум установлен в 5½ или 6 рублей в день.

С фронта приезжают солдаты-рабочие. Куда их девать.

А здесь мы помираем с голода. Сегодня последнее число ноября, а выдали ведь за ноябрь только по 4 фунта муки. Положение спасли, разумеется, только мешечники. Они разрядили атмосферу голодного бунта: разумеется, они же предварительно и испортили всё дело, подняв цены на местах до неимоверной цифры и дав понять крестьянину, что, сидя на месте помимо всяких твердых цен, к нему придут толпы мешечников и дадут ему во много раз дороже. Так оно и получилось на деле. Управы не могли больше закупать, переправлять сюда достаточное количество хлеба. А волна мешечников продолжала охлестывать хлебородные губернии. По имеющимся сведениям сюда, в Иваново, ввезено за ноябрь мешечниками около 50 вагонов муки. Об этом говорил член продовольственной уездной управы. На деньги менять было трудно, и рабочие меняли на мануфактуру. Теперь выдачу мануфактуры прекратили, чтобы собрать ее в руки продовольственной районной управы, которая организованно и обменяла бы ее на хлеб. Но фабричные комитеты, неосведомленные в достаточной мере секретарями о решении совета, выдавали, что придется, по своему усмотрению. На одной фабрике пришлось по 20 арш., на другой по 28 и т. д.

Что же получилось? С сегодняшнего дня выдача добавочной прекращена, а всего еще вчера выдавали по 20—30 арш.

Прекратить необходимо. Но ведь не успевшим получить — завидно.

Вот и пошло волнение. Заволновались на одной, заволновались на другой фабрике, а тут уж и негодяи нашлись; подуськивают, чтобы разогнать комитеты и Совет. Недовольная, обозленная масса всему верит.

Завтра демонстрация. Провожаем товарищей в Учредительное собрание. Эта демонстрация несомненно будет беспокойная.

Мы словно на вулкане.

Каждую минуту только и ждем, что сама же рабочая масса кувыркнет нас с почетного и мучительного трона — кувыркнет и сама бешено закружится в безумном, безудержном вихре отчаяния. О контр-революции речи уже нет. Здесь с этой стороны опасность небольшая.

Но вот свои же товарищи, измученные, уставшие, отчаявшиеся и обозленные, к тому же, разумеется, наименее сознательные—эти нас могут свалить в пропасть, прежде чем лететь самим.

Реорганизация Совета

Теперь, на 10 месяце революции в сотый раз подымаем мы вопрос о реорганизации Совета — всей его работы и всей работы Исполнительного комитета.

Исполнительный комитет разбили на комиссии.

Имеется тут и экономическая, которая, бог даст, разовьется в совет рабочего контроля; имеется и финансовая, которая причастна к первой и ведает, в частности, изысканием средств Совету; хозяйственная, культурно-просветительная, комиссия труда . . .

Но ведь всюду нужны знатоки своего дела. А кого мы пошлем. Люди все прямо от станка. Ну, какой он председатель финансовой комиссии, хотя бы т. Баранов. Да разве годится он на такое большое дело. А ведь назначить больше некого. И бейся ты не бейся, а послать некого. Интеллигентных, знающих работников нет. И мы видим, что реорганизации наши ни к чему не приведут. Главная причина здесь не в форме распределения работ, а в недостатке работников.

Если бы были работники — функции каждого определились бы сами по себе. Распределение пришло бы естественным путем. А теперь подумаешь-подумаешь и видишь, что назначь его в финансовую, хозяйственную и культурно-просветительную — толк все равно будет одинаковый. Дело ему все равно новое, и на каждом месте он все равно будет начинать с азбуки.

Вот каково наше положение. Оно поистине трагично. А Совет ведь «верховная» власть в городе. И город ведь не маленький — более 150 тысяч душ.

Вот положение. А бороться надо. Подлая изменница-интеллигенция встала в ряды врагов трудового народа.

Полагаться приходится лишь на собственную силу, на собственное мужество и собственное знание. Мы одиноки. В этом трагизм, но согласитесь, что в этом достаточно

и самоотвержения, достаточно грозного величия. Рабочий, темный и уставший, истерзанный до-нельзя непосильной борьбой, кует счастье будущим поколениям.

2—XII

Наш заговор

Это все происходило негласно, конспиративно. Профессиональный союз (правление) пригласил нас в экстренном порядке — Самойлова, Колесанова, меня для разрешения неотложно-срочного дела.

Приехали. Заперлись в комнату. Никого не пускаем. Говорим вполголоса. С делом познакомил Асадкин. Согласительная комиссия, заседающая теперь в Москве, сказал он, ничего не даст рабочему, кроме горя. Надо браться за дело самим.

Фабриканты установили свой минимум в 5,25 вместо наших 7½ и через голову союза обращаются прямо к рабочим вот с такими бумажками (он показал нам постановления фабрикантов, датированные 29-ым ноября).

На всероссийском съезде текстилей в Москве постановлено вводить минимум явочным порядком. Медлить дальше нельзя. Рабочие волнуются и перестают доверять профессиональному союзу.

У фабрикантов 2—3 вождя.

Необходимо в первую голову изъять их из обращения. Затем необходимо осмотреться кругом и позаботиться, чтобы в нашем лагере было вполне спокойно.

Предлагаю обменяться мнениями.

Много говорили мы о производстве, заглядывали во все щели и старались все предусмотреть.

Мои максималистские мысли падали на готовую почву.

Большевики были уже вполне максималистами, только еще робели называть вещи их собственными именами.

Речь шла о полном устранении фабрикантов от производства, даже в тех отдельных случаях, когда фабриканты принимают минимум. Все сгруппировывается в руках особой коллегии, где одна треть от служащих-администрации

и две трети от рабочих. Эта коллегия регулирует производство, находясь в теснейшем контакте с фабрично-заводским комитетом.

На область создается Совет народных комиссаров, который ответственен перед областным съездом советов. Намечены комиссариаты:

1) Труда,
2) Снабжения (промышленности),
3) Земледелия,
4) Продовольствия,
5) Просвещения и юстиции,
6) Внутренних дел (он же премьер).

Этот вопрос решался уже вкупе с приехавшими делегатами от советов: кинешемского, вичугского, тейковского, середского, шуйского... От нас был кворум президиума.

Все крупные советы области были на-лицо. 6-го решено созвать областную конференцию советов, союза, фабрично-заводских комитетов, самоуправлений, земств и кооперативов.

Из пестрой повестки дня выступают вопросы о рабочем контроле и демобилизации армии и промышленности.

Вчера же (1-го) посланы были в Москву красногвардейцы для ареста вожаков нашей буржуазии: Неведомского, Вейсмана, Лазарева, Лебедева, Доброва.

Сегодня из Москвы звонили: врагов взяли на заседании Согласительной комиссии, возобновившей, повидимому, переговоры. Там переполох и недоумение. Комиссия прекратила работу. Негодяев везут сюда. Тюрьма готова — пять одиночек. Об этом сегодня был соответствующий разговор с Бубновым.

По всем советам дана инструкция о поведении во время социального поворота; о мерах противодействия попыткам открытого и тайного саботажа; о сохранении администрации на местах — путем отобрания подписок о невыезде своем, семьи и родственников — без ведома советов.

Всюду устанавливается строгий надзор.

Создание Совета комиссаров отложили до съезда. Недостаток людей ощущается крайне остро. Посмотрите намеченных комиссаров: Асадкин, Климохин, Фурманов, Нацеренус, Абельман, Шеффлер, Киселев из Родников. Люди

хорошие, но для министерских портфелей не годятся. Вот беда. Но много у нас революционного размаха, много веры в успех зачатого дела.

4—XII

Революционный трибунал

Согласно декрета «Революционный трибунал» создается Советом. Оглядываюсь я на товарищей по советской работе и спрашиваю:

— Но кто же, все-таки, возьмется из нас за это большое, серьезное дело. Ведь не один из нас не понимает ничего в юридических науках. Ведь дело требует все-таки некоторых специальных знаний, а кто из нас знает что-нибудь.

И становится горько, безнадежно горько. Одиноки мы, и помощи ждать неоткуда.

Есть у нас один разъединственный юрист, да и тот завален работой в областном союзе текстилей. Перегруженности работой мы не признаем и потому живо приволокли его на свое заседание:

«Хоть разорвись, а работай с нами».

У текстилей в союзе одного заездили до психиатрической лечебницы. Вообще человеку чуткому и нервному в этой работе долго не работать. Да это и не работа, а сплошное пылание самым жарким, самым ярким полымем. Мы худеем и бледнеем на глазах один у другого и, словно по уговору, молчим, избегаем об этом говорить, чтобы сохранить бодрость и веселье духа. До чего-либо окончательного так и не договорились. Да вспомнили еще, что в Городской думе этот же вопрос уже подымался однажды— вспомнили и обрадовались, что не все еще двери закрыты перед нами.

Следует вообще заметить, что мы очень и очень радуемся, когда вдруг представляется возможность сбурить куда-нибудь хоть маленькое дело, не говорю уже о крупном. Только и разнюхиваем какую-нибудь секцию, подсекцию, комиссию, коллегию или что-нибудь в этом роде.

Обрадовались и теперь, назначили совместное заседание. Пришли. Из юристов один большевик, другой меньшевик, третий эс-эр. Говорили больше они, мы высказывались мало, ибо мало и понимали, говоря откровенно.

Большевик утверждал, что в революционное время закон — вещь условная. Мы не должны следовать слепо указке, откуда бы она ни исходила, не должны заниматься буквоедством. Пусть народные комиссары наша власть, и пусть эта власть поручает дело организации института выборных судей (речь идет не о революционном трибунале) Совету. Но мы должны руководствоваться принципом целесообразности.

У Совета нет средств, нет кандидатов.

У Думы есть и то и другое.

Дума в своем большинстве — с нами единомышленна. Следовательно, мы без опасности для себя можем препоручить ей это дело, разумеется, совместно с нами, т.-е. с Советом.

Другие отстаивали противоположное.

Говорили, что важна чистота принципа: раз организация советская, он и должен создавать ее. Кандидаты найдутся, тем более, что высшее образование теперь необязательно для этих должностей, а деньги добудем — частью обложением имущих, частью от самой городской управы.

На этом остановились. В управу подано более сорока заявлений, желающих занять судейские посты.

Теперь они откажутся, раз за дело возьмется Совет. Вот наше горе: все от нас уходят, как только увидят, что приближаемся.

Есть что-то, повидимому, страшное в непосредственном соприкосновении с пролетарской лавиной: одни морщатся брезгливо и сторонятся; другие презрительно обходят сбоку и ядовито усмехаются; третьи дрожат, как листы по осени, и от страха поднимаются на задние лапки. Но и те, и другие, и третьи полны ненависти и затаенной жажды мести.

Там записано теперь до 3 тысяч безработных. Они массами приходят к Совету и требуют работ. Но представьте наше положение: откуда же мы, из пальца что ли, высосем им работу.

Совместно с городским самоуправлением пообдумали вопрос об организации общественных работ и согласились, что необходимо будет построить деревянные амбулатории, театр для рабочих, попилить дрова, подметать улицы, кое-где снять пленных с работ и заместить своими, устроить дешевую столовую и т. д.

Все это хорошо, но как-то мало верится, что все будет когда-нибудь осуществлено. В самоуправлении нет денег, да и взяться некому за такое большое дело. Собрались все неопытные, новые люди.

С биржи труда на всякую работу ведь не пойдут. Посылали, например, в ассенизационный обоз, на рубку леса, на уличные работы — нейдут. Там много квалифицированных, и им итти на черную работу, разумеется, не хочется. Дело осложняется.

Поднят был вопрос и о расширении производства, об устройстве новых смен; о пуске новых станков, даже об открытии нового завода, благо народными комиссарами отчислено 3 миллиарда на демобилизацию промышленности. Но все эти вопросы затрагивались не к месту. Через день, 6-го, созывается областная конференция советов, союзов, комитетов и других организаций. Там эти вопросы будут поставлены во всю широту. А у нас в Совете уж имеется постановление:

Принимать приходящих с фронта на старые должности, если они свободны, а если не свободны — в запас.

Но у фабрикантов, оказывается, есть свое постановление от 13 октября:

Принимать приходящих с войны лишь за счет работающих, т.-е. после предварительного расчета.

Вот наши интересы и сталкиваются. Но свое постановление мы строго проводим через фабричные комитеты и во

многих случаях наперекор администрации, совершенно устраняя ее от дела.

Беда наша в том, что до сих пор еще не спелись даже своими-то организациями. Например, комиссия труда при Совете и самоуправлении совершенно незнакомы между собой и, кажется, первый только раз услышали друг о дружке за сегодняшний вечер. А революции уже скоро 10 месяцев. Вот она работа вразброд, случайно, опрометчиво... Силы много, а толку мало.

И скорбно становится от бессилья нашей могучей силы.

6—XII

Переизбрание президиума

Вопрос поднят мною. Председатель Федор Никитич Самойлов слишком деликатный и мягкий человек, да притом больной, с тихим голосом, нерешительный, А теперь, когда Совет сделался властью, необходимо голову в Совете иметь решительную, действенную, может-быть, деспотическую.

Работа Исполнительного комитета здорово хромает не только потому, что нет хороших работников, но и по халатности имеющихся. Придут часов в 12, потолкаются часа 2—3 и уходят... За это получают 300 рублей. Необходимо ввести строгую дисциплину внутри самого Исполнительного комитета: чтобы во-время являлись (10 часов); раньше срока не уходили (4 часа); чтоб в Совете попусту не мотались, а работали и прочее.

А то взвалили работу на троих-четверых и успокоились... Ну что, например, делают вот эти Колесковы, Константиновы, Поляковы, Синицины и другие... Ведь решительно ничего, да и не способны они к этой работе, при всем своем, быть-может, огромном скрытом желании поработать. И таких около 15 человек, даже больше — из 25. Вот всю эту компанию и необходимо связать по возможности в единое целое, каждому дать свою работу, поставить на свое место.

А кроткий Федор Никитич не подходит для роли организатора.

Другой, — тов. председателя, Наумов, занят в редакции и заседания Исполнительного комитета посещает лишь налетом. А я, тов. председателя, так изнервничался, что боюсь вообще навредить работе и потому хотел бы остаться рядовым членом и поработать в культурно-просветительной комиссии.

Впрочем, едва ли это осуществится. Сегодня предстоит съезду организовать областное бюро советов. В узкую коллегию этого бюро, работающую постоянно, выбрали и меня. Предстоит колоссальная работа по объединению советов области к единому центру. Вот и отдых.

Федор Никитич оставлен тов. председателя; другим товарищем — Скороходов, а председателем Калашников.

Завтра очередное заседание Совета. Необходимо составить повестку дня. Неужели везде повестки составляются так же, как и у нас.

Минут 15—20 сидели впустую, не придумав ни одного вопроса.

Потом придумали:

Утверждение президиума. А что же дальше. Сунули еще какой-то маленький вопрос и залепили повестку неизменными текущими делами, предоставив самому собранию вкладывать конкретное содержание в эту туманную формулу. На завтра же областной съезд — поэтому со многими вопросами и медлили, чтобы дать им оформиться предварительно на съезде.

На заседания Исполнительного комитета то и дело врываются с делами «вне очереди».

— Очень спешно, товарищи, не терпит никакого отлагательства.

— Ну, что — говорите...

— У Бурылина задержана женщина; под полой у нее «найдено аршин 20—25 сурового миткалю... Когда она...

— Да позвольте, позвольте, чорт вас дери, какое же это «вне очереди» и чего вы врываетесь в Исполнительный комитет. Передайте дело в конфликтную комиссию.

— Товарищи, извиняюсь...

— Что у вас...

— Неотложное, срочное дело...

— Может-быть, такое же...

— Нет, весьма важное — всего города касается...

— Ну, в чем дело?

— У Куваева служащих задержали в конторе и не выпускают...

— Да ведь об этом уже разбирали и давно отзвонили туда, чтобы служащих выпустили...

— А... Ну ладно...

И такими внеочередными заявлениями просто замают. Редко-редко попадает среди них действительно спешное дело...

Максималисты

Собираемся регулярно по вторникам и воскресеньям. Изучаем политическую экономию. Но большинство относится к делу спустя рукава, и посещает собрания из пятого в десятое. Только 5 — 6 человек исправные и занимаются, как следует.

Приходит и частная публика — садится, слушает и иногда принимает участие и в спорах-вопросах.

Ходят некоторые из большевиков, жалеют, что у них в комитете не бывает подобных собраний, где бы что-нибудь изучалось. Охота у многих большая, только все еще не могут взять себя в руки. В комитете у нас литературы скопилось почти на 1 000 рублей, но распространять теперь трудно, потому что у рабочих и без того ничего не остается: фабриканты путем не выдают, а запасных нет.

Не устроил я для рабочих и те две лекции, что хотел. Все нет времени. Да тут события подгрудили так, что совсем не до лекций было... Вот и медлю. А надо бы, давно уж надо бы познакомить их подробнее с трудовой республикой.

6—8—XII

Областной съезд

На 6-ое декабря в Иванове был назначен областной съезд советов, союзов, комитетов, самоуправлений — городских и земских.

От этого съезда мы ждали очень многого, а главным образом разрешения вопроса о рабочем контроле и демобилизаци, с одной стороны, и создания твердой власти в области — с другой.

С самого раннего утра стали являться в Совет делегаты для получения мандатов, но мандатная комиссия пришла только в первом часу и в результате съезд открылся в четвертом.

Асадкин, как председатель организационной комиссии, сделал краткое сообщение о целях созыва этого съезда и о плане предполагающейся его работы. Выбрали президиум из 9 человек, в число которых попал, между прочим, и я. Начались доклады.

О профессиональных союзах.

О рабочем законодательстве.

О взаимоотношениях союзов и фабрично-заводских комитетов.

Особенно долгие прения вызвал последний, 3 вопрос.

Представители союза тянули в свою сторону и старались низвести фабрично-заводские комитеты до роли простых придатков профессиональных коллективов, а представители комитетов утверждали, что члены союза на местах являются лишь простыми сборщиками и совершенно не могут выполнять какую-либо политическую работу. Спорили об этом по крайней-мере часа три и в результате каждый остался при своем мнении. Съехалось на съезд человек 300 и из них самой малочисленной группой была группа советская.

Съезд разделился в первый же день на секции:

Организационную,

Р а б о ч у ю и

Продовольственную.

Каждая секция заседала особо, должна была вынести по отведенным ей вопросам резолюции и представить их на утверждение пленума. Но разделение оказалось нежизненным; 95% оказалось в рабочей секции, а на следующий день сюда перебрались и остальные представители организационной и продовольственной секций.

В редакционную комиссию, избранную в рабочей секции, пополненную и утвержденную в пленуме сдавались все резолюции и тезисы.

Первый день миновал сравнительно благополучно. Только становилось ясно, что это многословие загубит под собою настоящее дело. Говорители совершенно забывали, зачем приехали и бесцеремонно отнимали у съезда один час за другим. Время шло, а реальных плодов еще никаких не предвиделось. Съезд рассчитан на три-четыре дня. Один из четырех уже минул, а главные вопросы еще не затронуты. Предположения к глубокому сожалению оправдались, и следующий день был абсолютно потерян на споры и раздоры. О чем был спор даже трудно сказать, но ясно было, что нет еще между нами того единства, той сплоченности, о которой так любим говорить. Киселев, например, горячо осуждал профессиональный союз за то, что он думает «проглотить» фабрично-заводские комитеты, взять первую скрипку в оркестре, и, словом, захватить власть.

Он взывал даже к собранию:

— За кем же мы идем, товарищи. Ведь в союзе работает много эс-эров и меньшевиков... Например: Богданов, Смирнов, Климохин... Ведь они тянут свою...

После Киселев извинялся за горячку, сам призывал к спокойствию, но было уже поздно:

На следующий день правление союза подало в отставку. Остался один Асадкин.

Выбрали районный Совет Р. и С. Д. в количестве 12 человек. Из них 2 комиссара: Труда — Асадкин, Промышленности — Могилевский.

Остальные члены: Станкевич, Почерников, Разумов, Савченко, Коротков, Шашунов, Зарецкий, Климохин, Наумов, Фурманов.

Заслушали доклады и по всем оставшимся вопросам. Но это была уже совершенно излишняя формальность: кончить все во что бы то ни стало. К ночи 3-го дня все страшно утомились. Не было никакого смысла продолжать заседание. И все-таки дотянули до конца. Спели прощальную песню и разошлись, разъехались в разные стороны.

Что дал нам этот съезд.

Ничего. Поскандалили мы вволю, и если туда проникли прислужники наших врагов — они передадут своим господам приблизительно следующее:

«Не робейте. Демократия рассыпается. На съезде собрались самые сливки, все председатели да их товарищи, а что у них получилось, все время перекоряются — и только. Человек 6 — 8 представителей разных советов заявило об уходе со съезда, в виду того, что данный съезд — зачинание самочинное — пытается упразднить законный орган — Губернский исполнительный комитет.

«В большинстве — представители не имеют императивных мандатов и ощупью разбираются во всех вопросах: на местах обсудить не успели, съезд был создан безумно быстро и непродуманно. По многим вопросам не имеется докладчиков, а хороших докладчиков и вообще нет».

Непутевый съезд — только бессилье свое подчеркнула наша демократия на этом съезде... И, действительно, что мы получили от съезда. Двухнедельный совет, да кипу надоевших, никому ненужных резолюций. И все. А живого дела, разрешения насущных вопросов о рабочем контроле, о демобилизации армии и промышленности — этого коснулись даже как-то вскользь, а ведь мы, когда собирали, надеялись, что после съезда будем устраивать две смены, там где одна; может-быть, три смены, там где две. Начнем перегруппировку рабочих; многих пустим на общественные работы; добудем побольше хлопка (а Московские склады им переполнены), разгрузим свои, переполненные мануфактурой склады... Вот чего мы ждали. Думали, что съезд наметит вехи, даст руководящие мысли, а мы уж сами на местах попытаемся влить содержание в живые мысли съезда. И что же получилось. Сказано было несколько всем известных истин, призваны были все «к плодотворной и спешной работе» — и только. А призывом да пожеланием вопрос не решается. Разговоры были, несомненно, не по существу. Собрание было неделовое. Все та же пустая, надоевшая болтовня, что и на любом многолюдном собрании, хотя бы и на демократическом, вечная ему память, сердечному.

То-то много было всякой болтовни. Чего-то нет в наших собраниях и нет главного: дела нет.

И потому нет дела, что для дела нужны определенные знания, определенный навык, уменье... А кто из нас учен и опытен. Нет таких. Есть много умных, честных людей, благородных, самоотверженных борцов, но людей боль-

шого знания и ученого опыта — нет. Горизонт наш и беспредельно широк и бесконечно убог. Все это сразу, ибо мечту о деле и самое дело мы не разделяем. Редко-редко предложит кто-нибудь конкретную меру — действительную, радикальную, продуманную. Больше все так себе — с лету, что взбрело на ум. Ляпнет совершенно не подумавши, не только не продумавши, и баста. Пройдет эта мера или не пройдет — его зачастую совершенно не занимает.

Важнее всего — выступить во что бы то ни стало со своим собственным предложением, выступить на авось. И этот «авось» к горю нашему нередко удается, осуществляется в жизни и, разумеется, влечет за собою много бед, а в первую голову нам же самим, принявшим «закон-авось» за мудрый совет.

10—XII

Первые шаги районной власти

Районному Совету поручено в конце декабря созвать новый областной съезд, на котором, между прочим, была бы сконструирована окончательно районная власть. Мы властвуем, следовательно, только две недели. А дела возложена такая масса, что дай бог и в два года управиться, особенно таким «министрам», каких выбрали. Всего нас 12 человек, но относительно троих можно наверное сказать, что ни разу сюда и не заглянут:

Один — председатель райпродуправы,

Другой — председатель Совета раб. и солд. деп.,

Третий — очень нужное лицо в союзе.

Не по лени, не по прихоти, а просто дело встанет, если они сюда переберутся на новую работу. Остается 9 человек. Один взял совершенно не ко времени отпуск на 4 дня, у другого срочнейшие дела по коллективному договору; дальше идет уездный комиссар, за ним редактор газеты и т. д. и т. д. Это уж не работники в районном Совете. Им и без того по горло. Так уж оно и выходит, что нам с Наумычем придется все принять на себя, а какие же мы министры.

Вот сегодня подготовляли материал по обложению торговых, промышленных и прочих предприятий, увеселя-

тельных заведений и прочего — единовременным налогом в фонд районного и местных советов. А что принять за основу, какую норму принять. Этого мы совершенно не знаем. Гадали-гадали и порешили брать за каждого работающего в предприятии один рубль с фабриканта; 10% с увеселительных заведений и т. д.

Но все это беспочвенно, все это гадательно. А мы ведь в известном случае «лучшие люди», если только весь свет выразил нам такое доверие. Что же с остальными-то. Затем отправились осматривать фабрикантские дома под районный Совет.

Лезли к ним во дворцы и заставляли бледнеть их перепуганные, растерянные лица. Они водили нас по комнатам и предупредительно показывали и рассказывали о каких-то небылицах и пустяках. Уверяли, что им некуда будет деваться, что их выгоняют напрасно и проч. и проч.

Характерно, что каждый указывал на другие фабрикантские дома и уверял, что они удобнее, давно пустуют и вообще совершенно, повидимому, готовы для реквизиции. Пришлось успокаивать, что «своевременно, дескать, и до них доберемся».

— Так вы уж лучше перевешали бы нас, что ли, — вскрикнула дама — Витова.

— А это будущее покажет, — отвечаем ей.

Раскраснелась, разволновалась, так и пышет, так и мечет, а бессильно. А потому лишь больше злится и свирепеет.

13—XII

Райсовет

Съезд закончился 8-го. Завтра 14-ое. А Совет еще и не начинал работать как следует, ибо то, что он делал — слишком малозначительно, чтобы долго на нем останавливаться. Послали телеграмму народным комиссарам, чтобы они утвердили наших областных комиссаров: труда и промышленности.

Заслушали и приняли декрет об обложении. С этим декретом сидели по крайней мере часа три, тогда как знаю-

щему тут всего дела было на 15 — 20 минут. Мы путались в разрядах, в промысловых свидетельствах и проч.

Только Асадкин и вывозил, но он часто отлучался, а мы одни отвлекались и говорили не по существу. Разговор не по существу был логическим следствием нашего полного незнания и нащупывания там, где просто надо было твердо и кратко привести требуемую цифру. Наконец сегодня, 13-го, по моему предложению, высказанному в гневе и возбуждении — разбились на комиссии:

1) Промышленная (Могилевский, Разумов, Коротков, Ив. Ив.),

2) Труда (Асадкин, Шашунов, Климохин),

3) По организации съезда (Наумов, Зарецкий, Фурманов),

4) О власти и новой губ. (Станкевич, Почерников).

Надо думать, что работа пойдет успешнее. А то сойдемся — говорим, говорим, а толку решительно не предвидится. Вопросы перед нами стоят открыто, только не знаем с которой стороны к ним прикоснуться. К примеру — о мануфактуре. В мануфактуре везде страшная нужда. Приезжают к нам со всех концов России, приезжают из армии, из тыловых частей, едут крестьяне, едут товарищи-рабочие. А мы даем один ответ:

— Ни аршина дать не можем, ибо у нас люди с голода помирают. За ноябрь мы получили всего по 4 фунта. Голоднее нашего города нет, и мы всю мануфактуру направляем в райпродуправу. Она ее огромными массами отправляет в хлебородные губернии и берет оттуда хлеб... Не можем, товарищи...

Так мы всегда отвечаем приезжающим делегатам. Все здесь просто, понятно и веско, но на деле оказывается совсем иное. У райпродуправы, оказывается, нет никакой закономерности, никакого плана пользования мануфактурой. Берут и отсылают, как бог на душу положит. Наш район завален мануфактурой. Из Тейкова, например, сегодня сообщали, что все склады забиты и дальше некуда класть. Что делать?

У нас в Иванове тоже колоссальнейшие запасы — на много десятков миллионов рублей.

Необходимо срочно разгрузиться, ибо рабочим нехватает на дачку и фабриканты уверяют, что в деньгах у них большой затор. Вся работа упала на Райсовет. Но комиссары не утверждены и потому временно не берутся за работу.

Что-то надо сделать с райпродуправой, в этом никто не сомневается, но никто и не знает — с которого конца подойти. Вообще, чувствуется беспомощность и неуверенность — на-ряду с решительностью и большой смелостью в критические моменты, когда требуется проявление силы, а не знания, не опыта.

Много-много работы дано Совету. Подумаешь и закручинишься: а кто же делать-то будет эту работу. Ведь мало одной нашей преданности, беззаветной преданности рабочему делу, мало смелости и решительности, мало бескорыстия и честности — нужно знание, холодное, отчетливое знание дела. А у нас его нет. У нас нет, а те, что им обладают — не идут и никогда не пойдут к нам, ибо они в большинстве своем — наши открытые враги.

Тяжело, товарищи, ой, тяжело. В могилу — и то легче.

17—XII

Максималисты

У нас в группе всего человек 18 — 20. Когда спрашивают сторонние: почему вас так мало — спокойно, гордо и даже высокомерно мы отвечаем:

— К нам не так-то легко попасть. У нас подбор идейный. Для количества мы не подбираем. Это лишь у вас прием торговцев:

«Приходи, записывайся в нашу партию, наша лучше всех других...». Разве это достойно социалистов. У нас так не принимают. Мы строго процеживаем. Нужна рекомендация, убежденность, согласие взять на себя определенную функцию, работать для партии. Двери мы никому не закрываем: милости просим, приходите — по вторникам и воскресеньям у нас очередные собрания, изучаем политическую экономию и разные дела, свои дела разрешаем, — приходите

и слушайте; числитесь кандидатом в члены, а когда мы увидим, что вы готовы — запишем и в члены...

Как все это хорошо.

Когда говорим — мы и сами верим, что все именно так обстоит, что подбор у нас идейный и т. д.

Но если присмотреться — идейных максималистов нет.

У одних неопределенно анархические склонности и никаких знаний; другие самые заурядные мещане, мало пригодные для боевой, кипучей работы за максимализм; третьи просто политические младенцы, попавшие «по знакомству» через 2—3 членов, уже состоящих в группе. Записались потому, что куда-нибудь надо же записываться, иначе какой же и пролетарий. Сознания групповой связанности у многих и очень многих недостает.

Самому работать мне некогда, а можно сказать без авто-похвал, что Дм. Фурманов является стержнем местной группы максималистов. Об этом они постоянно говорят мне сами и ничего не могут поделать, когда почему-либо я не смогу прийти на собрание: помнится, потолкуют о своем бессилии и разойдутся.... Так было каждый раз, когда я не приходил на собрание. А советская работа, как более крупная и ответственная, не дает мне возможности оторваться на партийную работу. Где важнее быть: в Совете или в партии. Я думаю, что в Совете.

Авто-воры

Мы сами обкрадываем себя. Потому обкрадываем, что некультурны, что зачумели от свободы, что неправильно зачастую понимали на первый раз свое гражданское право и гражданскую обязанность.

1) На фабрике Маракушева рабочие выбрали троих представителей, вручили им, собранные с большим трудом, 13 тысяч руб. и послали за хлебом. А негодяи деньги промотали.

2) Исполнительным комитетом Ив.-Вознесенска было постановлено не продавать и не выдавать временно ни одного аршина ситцу, а член того же Исполнительного комитета — Баранов пришел в свой фабричный комитет, набуянил, изломал стул и получил-таки свои 15 — 20 аршин.

3) В середской продовольственной управе, у одного из делегированных за хлебом «отрезали карман с 16 тыс. руб.». Характерно, что брюки целы, не прорезаны, а вырезан лишь карман.

4) На ситцевой у Полушина какой-то чудак (а может и не чудак) объявил с трибуны о предстоящем обыске в сторожевых воротах. Когда кончился митинг — на опустевшей площади валялось кучками до 1 000 арш. ситцу. Его «поспускали» в толпе перепугавшиеся обыска.

5) На члена фабричного комитета И. Г. Горелкина — указывают определенно, — что «берет» ситец и «дает» вне очереди знакомым.

6) У членов управы можете всегда получить стакан чаю «с сахаром», тогда как мы не видим сахара месяцами; можно получить и кусок белого хлеба.

7) Член иваново-вознесенской мануфактурной управы (Терентьев) уличен в изделии фальшивых ордеров на получение ситца. Документы в милиции.

8) Члены Красной гвардии, реквизируя муку, часто тут же покупают ее «по дешевке» у перепуганного спекулянта. Подобный случай был и со сливочным маслом...

Словом, у всех рыльце в пушку. Мы не храним чистоту своих организаций. Против многих справедливых обвинений абсолютно нечего возразить. К стене прижимают с поличным, и авторитет советской или иной организации колеблется у тебя же на глазах. Мы делаем невероятные усилия, чтобы очистить наши организации от грязного налета и все-таки не можем счистить разом всю грязь. Темнота и новизна положения делают свое дело.

Действительно, у человека очутились в руках десятки тысяч рублей. Прежде он никогда не видал такой уймы денег. Рисуется перспектива: «свой домишка, скотина, своя и хорошая утварь, довольствие»...

Жажда мещанского покоя побеждает. Идейные соображения умирают, и он делается вором. Но будучи вором неопытным, ворующим, быть-может, впервые — он попадется на первых же шагах. Попадают, разумеется, и рецидивисты, люди с грязным прошлым.

(Теперь ведь так легко всякому крикуну продраться кверху).

Массы изголодались, устали, перестают доверяться вождям. Нужно что-то экстренное: нужны истерические выкрики и безумные проекты, чтобы быть признанным.

Так, разумеется, не везде и не всегда. Но в минуту крайнего возбуждения массы признают именно такого крикуна. Вот ему и открыта дорога. Мы позорим сами себя, сами себя бесцеремонно обкрадываем. Это уже расхищение собственных внутренностей. Но пресечь, пресечь быстро — неимоверный труд, неосуществимая задача. Здесь нужно не глумленье со стороны, а непосредственная работа среди расхитителей.

20—XII

Райсовет

Что он делает, Райсовет, на который смотрит с таким доверием вся рабочая масса района.

Он ничего, почти ничего не делает, ибо некогда и некому делать ту огромную работу, которая возложена на Совет областным съездом.

Из 12 человек, членов Райсовета, ежедневно собирается всего 6 — 7 человек. Это за последние дни, а первое время собирались все через 2 — 3 дня. Сойдемся, потолкуем и разойдемся.

Заседания были бесплодны потому, что нет ни у кого определенного плана работы, нет конкретных предложений, намеченных мероприятий. Мы сходимся — вооруженные одним лишь желанием «сделать побольше и получше». Желание это несомненно имеется у каждого и в большой степени, но ведь одни пожелания столько же бесполезны, сколько и безвредны.

Почесать язык не шутка. Много предлагается и проектов, но видно, что проекты эти выдуманы минуты 2 — 3 назад — случайно, скоропалительно, непродуманно.

Не учитываются последствия, даже самые близкие и определенно неизбежные. А задумываемся мало над вопросами потому, что в вопросах этих (промышленный, продовольственный и др.) оказывается недостаточным не только

иметь одни благие пожелания, но иметь и один здравый смысл — без определенных знаний, без опыта, без соответствующей подготовки.

Мы все здесь настроены по-боевому и верим свято в осуществимость своих планов; мы все здесь не глупы, если смотреть на дело с общей точки зрения, но когда приходится прикасаться к вопросам специальным — тут здравый наш смысл оказывается почти нулем, выхода ясного не видим и не знаем, а потому и вопрос решаем с плеча.

Взять хотя бы дело с арестованными вождями нашей областной буржуазии — Неведомским, Добровым, Лазаревым.

Относительно их освобождения ходатайствуют со всех сторон — жены, личные друзья и сотоварищи по работе, представители союза объединенной промышленности, комиссар труда Шляпников и наконец Московский совет Р. и С. Д., плюс областной комиссар труда Ногин. Все требуют в один голос: «освободить».

Смешение странное: тут и Совет — наша организация, тут и комиссар — наше начальство, тут и союз объединенной промышленности — крепкая организация наших врагов.

Промышленники заявляют, что не вступят ни с кем ни ь какие переговоры, не примут участия ни в каких третейских судах и согласительных комиссиях до тех пор, пока мы не освободим арестованных. У них цель понятная — вернуть своих идеологов, вождей — и начать удвоенную, упорную, окончательную борьбу.

Они утверждают, что лишь только мы освободим арестованных, как они признают минимум, что тотчас же примут участие во всевозможных комиссиях.

Но позвольте. К чему тогда все эти комиссии, если только они авансом признают наши требования. Здесь не все благополучно. Здесь кроется несомненно злостный умысел, кроется наглый обман. Комиссары и Совет мотивируют свое требование тем, что мы еще слишком слабы, чтобы обойтись без фабрикантов, что промышленность погибнет, что посреднические комиссии пока еще необходимы, а раз так — освобождение необходимо.

Мы им всем отказали и мотивировали свой отказ следующим образом. Согласительные комиссии и прочая

посредническая мирная прелесть являются лишь удобной ширмой, за которой фабрикантам удобно вести свою подлую разрушительную работу, легче проводить в жизнь саботажнические приемы, легче оттягивать дело все дальше и дальше — взволновывая и разъединяя рабочие массы. Эти посреднические учреждения отжили свой век; мы их считаем не только бесполезными, но страшно вредными для всего рабочего дела; мы выходим на открытую политическую борьбу даже в сфере требований чисто экономических. Мы издали циркуляр и приказ, согласно которым минимум проводится путем декретирования, а не подчиняющихся — препровождаем в тюрьму.

Нам важно высосать, выбрать из карманов фабрикантов все, что можно, дабы это «все» было вложено в предприятие. А тогда — тогда простимся. Уже и теперь во многих местах фабрики и заводы перешли к рабочим и ведутся при помощи особых коллективов, созданных из рабочих и служащих предприятия.

Момент теперь острый и критический. Каждая лишняя преграда страшно осложняет нашу работу. Все преграды мы стремимся устранить заблаговременно. В такую минуту, когда важно, чтобы наши декреты безболезненно претворялись в жизнь — нам необходимо вырвать из вражьего стана самых опасных противников, которые могли бы повести против нас организованное наступление, которые могут предвидеть наши действия, предугадывать методы нашей борьбы — нам важно обессилить врага. И мы его обессиливаем. Предлагаем и в иных местах товарищам последовать нашему примеру. Вот наша мотивировка: мы борьбу экономическую претворяем в политическую. Это соображение разделяют и поддерживают даже такие крупные представители профессионального движения нашей области, как Асадкин и Климохин. Даже они сознали, что прежние формы борьбы профессиональных союзов теперь уже негодны. Кроме того у Неведомского на даче найдено много оружия — это также сильная улика. Обоим делегатам московского Совета, приезжавшим последовательно 15 — 16 и 20-го мы дали одинаковый ответ:

— Арестованные будут сидеть, и свое постановление мы оставляем в силе.

Только последнему делегату было сообщено, что арестованных можно будет выпустить, если создастся третейский суд с арбитром — комиссаром труда. На этом пока вопрос и закончился.

Вопрос большой, ибо конфликт возникает уже между рабочими же организациями, между своим «начальством» и «подчиненными».

Московский Совет предъявил даже ультиматум (правда неофициально, в форме мнения отдельных членов президиума), ультиматум, отрицательная сторона которого заключается в возможности «разрыва» между Москвою и нами.

Мы не подчиняемся «начальству», ибо нам здесь на месте дело виднее; мы признаем совершенно нецелесообразным переменять свое решение; если мы выпустим врагов, они напакостят нам в деле проведения нашего циркуляра в жизнь; против нас поднимется тогда обозленная 300-тысячная рабочая масса и справедливо будет укорять и винить нас в непоследовательности, в малодушии и в слепом следовании дисциплине.

Но, может-быть, комиссары отстаивают «общегосударственную» точку зрения, может-быть, мы не дооцениваем чего-нибудь очень и очень важного... Все может быть. Предпоследнее голосование (с первым делегатом московского Совета) даже раскололо нас на два равные лагеря: 3 против 3-х. Сегодня 4 против 1-го и против 1-го, ибо я внес свое предложение особо:

— Прекратить вообще всяческие попытки переговоров с фабрикантами и усилить повсеместно репрессии, главным образом, «изъятие» вражеских вождей.

Мы, быть-может, многого не учитываем. А за нами ведь 300 тысяч одних рабочих. Вот какое дело приходится решать впятером-вшестером, да вдобавок людям мало опытным, мало знающим.

Даже становится несколько жутко. А что, если наше предложение основано только на добром желании; что, если оно вредно рабочим? Этот вопрос все время давит своею громадностью и серьезностью. Работать некому, вот в чем горе. Интеллигентов нет с нами — знающих, опытных ин-

теллигентов. А что мы можем поделать одни. И так из шкуры лезем вон и так напрягаемся до неимоверности. Эх, тяжело работать в одиночку.

3—I

Реквизиция

Под Райсовет мы заняли дом Полушина — громадный прекрасный дворец, во многом напоминающий дворец Кшесинской.

Осмотрели мы уже домов 5—6. Один лучше другого. Глаза разбегаются, не знаешь, на котором остановиться. В первый зашли мы к Витову. Вышла барыня — полная, красивая, высокая.

Побледнела, задрожала, перепугалась... Даже ничего и не говорит: стоит и смотрит на нас вопросительно.

— Мы члены Исполнительного комитета... Мы пришли осмотреть ваш дом под районный Совет Р. и С. Д...

Она смотрит растерянно и, повидимому, хорошенько еще не соображает, в чем дело.

— Пойдемте... Пожалуйте...

И повела нас по комнатам...

— От этой комнаты нет ключа, от этой тоже нет...

— Придется взломать...

Через пять минут нашлись ключи.

Румяные, рыхлые, избалованные горничные, няни, кухарки и прочая челядь испуганно толпились в дверях. На их лицах было и изумление и ненависть к нам.

А у Полушина заведующий домом развязно заявил:

— Убраться, говорите, надо... Здесь ведь господа, убраться не недельку и не две нужно... Тут месяц, а то, пожалуй, и больше.

— Ах так тут месяц нужно... Ну, нам ждать некогда: завтра же утром пришлем красногвардейцев и все повыкидаем на двор...

— Нет, зачем же, мы поторопимся...

На утро, когда мы явились часов в 11— половина мебели была уже убрана, а через день очистили и весь дом...

— Привяжите собак на цепь...

— Нет, пускай бегают, что же...

— Ах, бегают — ну, завтра же пристрелим...

На утро собаки были привязаны. Вообще с этой публикой приходится применять своеобразную тактику — народишко дрянной, изолгавшийся, изнеженный, утерявший всякую демократическую подкладку. Это уже верные псы, прислужники богатеев. Вошел дворник:

— А надолго ли вы сюда, господа...

— Надолго, дядюшка, навсегда...

— А как же барин-то... Когда приедет — где же он остановится-то.

— А где хочет: хочет в номере, а не хочет — пусть квартирку себе где-нибудь подыскивает...

— Так ведь этот дом-то у него собственный...

— Э, дядя, какой тут собственный. Теперь нет у них собственных домов, все наше... Один дом возьмем под больницу, другой под родильный дом, третий под приют — так понемногу все и разберем. А ты говоришь — собственный... Был собственный, а теперь уже чужой...

Дядя ничего не понял. Развел руками и ушел в недоумении.

Распорядились мы оставить на месте столы, стулья, кровати, шкафы и прочую мебель. Вообще распоряжались, как у себя дома. Экономка ходила сзади и приговаривала:

— Хорошо, оставим... Хорошо, оставим...

Теперь нам заниматься удобно. Жаловаться нельзя. Сразу пошла и работа успешнее. За два дня сделали столько, сколько не сделали за неделю перед этим.

Удержимся ли. Может-быть, повернется все вверх дном. Эх, тогда не сдобровать. Заключат нас тогда в хоромы, только не в эти. Да и будут ли еще с хоромами-то путаться, может-быть, разом прикончат.

Максималисты

Теперь работа замерла окончательно. Товарища Сидорова «протолкнули» в Исполнительный комитет совета, и торговать литературой и газетами совершенно некому. Ко-

митет целый день закрыт. Его в Исполнительный комитет провели из сожаления: человек больной, жить не на что, а там все-таки 300 рублей; однако, вздохнет, да и некого больше: все загружены другой работой. Впрочем, может-быть, я преуменьшаю нашу работу. Два раза в неделю собираемся, и я веду с ними беседы из политической экономии. Беседуем и по вопросам текущего момента. Горе в том, что говорить приходится мне одному: они только слушают— плохие максималисты.

Устроил я недавно две лекции о трудовой республике; одна у Н. Горелина, другая у Куваева. Завтра (4-го) с почт.-тел. служащими, а 6-го с железнодорожниками.

Горе только в том, что никто не помогает.

В Петербурге убили максималиста Лебедева; его семье послали 100 руб. Денег осталось рублей 600. Притока почти нет. Только и пополняю своими лекциями. Думаем издать газетку, или хотя бы листок, но опять-таки сверху донизу писать его придется мне одному. А писать некогда. Помогать снова некому. С центром связи почти никакой. Отчеты делать мне некогда, а помогать все снова и снова некому.

Нас, навещающих комитет, человек 10—15. И все-таки, надо сказать, что группа наша пользуется большим сочувствием и вниманием в рабочей среде ... Все толкуем о вооружении, о создании боевой дружины, но оружие достать неоткуда. Впрочем человек 8—10 вооружены, ибо состоят в Красной гвардии.

8—I

Лекция с железнодорожными служащими

Еще месяца 3—4 назад пришлось мне у железнодорожников проводить митинг. Еще тогда видел я, что сочувствие их на нашей, на советской стороне. Потом они часто вспоминали, приглашали еще, хотели послушать. Я выбрал время и устроил платную лекцию о трудовой республике, а чистый сбор (около 100 рублей), разумеется, в группу, как и всюду, где мне приходилось читать эту лекцию, сочувствие аудитории было со мной.

Они бурно аплодировали, благодарили, просили прийти и поговорить еще. Низший персонал железнодорожников с нами. Та «целесообразность», о которой говорил на конференции т. Ривкин, руководит всеми работами нашей группы. Даже одно слово, без определенного конкретного содержания, дает какую-то особенную бодрость, расчищая дорогу, указывает путь. Целесообразность можно, пожалуй, понять и своеобразно: держи нос по ветру, делай, что выгодно в данную минуту, не осложняй дела, сравнивай углы, подкрадывайся к цели...

Но у нас, идущих напролом, принцип целесообразности никогда не может извратиться подобным образом. Цель, как факел, горит впереди, а форму продвижения мы выискиваем сами.

Мы разом бьем по всем фронтам, вербуем отовсюду себе единомышленников: рабочие, солдаты, почтовики, телеграфисты, телефонисты, казначейские, банковские, железнодорожники — все захвачены нашей пропагандой, никого не выпускаем мы из поля зрения. Благодаря этому и в городе мирно, и организации работают единодушно.

По все фронтам — это наш девиз.

В нем и живет сущность принципа целесообразности.

16—I

Голод

Голодуха смертная. В ноябре получили по 4 фунта на брата, в декабре — по 8. Мало. Голодно. Страшно за народ.

Отрадно лишь то, что в эти страшные и величественные дни вся наша семья нуждается так же, как самый последний бедняк. Весьма и весьма часто не бывает ни пылинки муки. Боремся за скопленные огрызки — сухари. Провидение тем временем не дремлет: или в лавке начнут выдавать, или мать попризаймет, или Таня удружит, принесет 10 — 15 фунтов. У многих рабочих запасено по 8 — 10 и более пудов. Мы по сравнению с такими являемся голышами. Это меня радует.

Теперь бы только от дома как-нибудь отделаться (хотя сзади есть темная мысль: а как же семья-то будет жить, —

мать, сестры... Ведь я еще буду учиться, мне понадобится самому, да притом жена под боком...).

Мы голодаем. Голодаем и молчим.

Это и жутко и величественно.

С рабочими (а их собралось около 1½ тысячи) беседовал часа полтора. После товарищи удивлялись:

— Вот полтора часа говорил — а кашлянул ли кто. Никто... А почему. Да потому, что некогда было, за душу брало...

— А у нас пяти минут постоять не могут, словно звери завоют...

— Вот оно слово-то...

Они меня хвалили в глаза и ничуть не стеснялись, хотя видели, что мне стыдно за них.

— Товарищ Фурманов — лучший оратор среди рабочих, — почему-то вдруг заявил на собрании председатель фабрично-заводского комитета. Я хотел одернуть, но было уже поздно. Разумеется, все это и льстило в должную меру, но больше было стыдно, нежели лестно и приятно.

Рабочие слушали удивительно внимательно, я поразился и сам. За истекший месяц они получили всего 4 фунта ржаной, а сахару получили только в ноябре по 1 фунту. И молчат. Это ведь просто поразительное явление. Как же не поклонится нашему рабочему.

А на железной дороге, где каждая кучка могла бы ехать бесплатно (ибо кондуктора теперь ничто), там я почти не вижу зайцев, все исправно берут билеты.

Есть еще, и много есть этой внутренней порядочности в нашем рабочем и крестьянине.

На железной дороге картины можно наблюдать преинтересные:

Теплушка... Народу набилось вплотную. В крошечной печурке тлеется полено. Все жмутся к огню и дрожат: тут и артист в котелке, и деревенские бабы в овчинах, и солдаты-мешечники... Снизу показывается голова кондуктора; взор напрасно прыгает с валенка на валенок — негде ему остановиться.

— Ну, как, граждане, в международном-то тепло ли.

— Полезай, мы тебя вместо полена запихнем...

Кондуктор ни на секунду не смутившись, продолжал:

— Нате-ка, ребята, фонарь возьмите, поставьте-ка там в углу.

Фонарь берут и ставят...

— А вы коксом потопите...

— Где его возьмешь...

— Да в каждом углу бывает — пошарь, не велик барин-то, ручки, поди, не замараешь...

— Эх ты, казна-казна, вздыхает солдат, морду бы тебе набить, да жалко.

Кондуктор куда-то убегает.

— Ну, что, бабы, за мукой, что ли.

— Где за мукой... По домам едем...

— Хорошо вам, бабы: там по деревням-то «вся власть бабам» передана.

— По городам советы, а по деревням — бабы...

— Вот и провоевали муку-то...

— Мы — Россию, а вы — муку провоевали.

— Это чего же мы-то. Это вы и провоевали...

— Нет, тетка, не скипидарься... Мы ваше положение хорошо понимаем...

— Там, на фронте-то мы австрийца в плен брали да сюда посылали.

— А он приедет сюда да у тебя же бабу в плен и заберет...

— Вон какие все сынишки-то у нас пошли: ни в отца ни в деда... Чертенята какие-то, словно и пищат не по-нашему...

— Вот оно што значит — провоевали-то...

— Сеяли в одиночку, а жали вдвоем...

— Некогда было...

— А вы, поди, на фронте-то монахами жили... От вас, поди, не рожали там девки-то... У вас только не приметишь ничего — вот и отпугиваешь на бабу...

Баба очутилась одна под перекрестным огнем всей солдатской «секции» вагона...

Язвили и острили крепко. Бабу доняли чуть не до слез, но все-таки отбивалась и она довольно умело и ядовито.

Вагон качало и трепало, словно тряпку. Крушения теперь на редкость.

Было жутко. Вспоминался фронт, пальба, раненые, грохот такого же разбитого вагона, кровь, марля, стоны солдат...

Максимализм

Коноваловская фабрика должна была «по приказанию начальства» встать 5 января. Рабочие демонстративно продолжали работу. Пока мы посоветовали им — принять фабричному комитету на себя всю ответственность.

Телеграмма народных комиссаров (труда) извещала о необходимости срочного создания органов управления и уведомила о том, что декрет о национализации фабрик последует в ближайшие дни.

Асадкин и Климохин в тот же вечер отправились в Вичугу, куда была дана предварительно телефонограмма о необходимости к их приезду срочно созвать заседание Исполнительного комитета профессионального союза и фабрично-заводского комитета. В Вичуге правление было выбрано из 15, в Каменке из 17 человек. Там и здесь две трети рабочих. Там и здесь, в виду возможности осложнений, было введено военное положение.

Здесь, в Иванове, рабочие завода бывшего Шифферса явились в Райсовет в начале января и предложили нам обследовать его годность к работе, заявив, что работу поведут сами, что заказы имеются, чугуна, топлива и свету хватит месяца на два... Назначена была комиссия, которая установила полную пригодность для работы, уверив даже, что можно число рабочих увеличить втрое. Завод тронулся руками самих рабочих 16-го сего месяца. Они примирились заранее, что дачку, может-быть, не получат слишком долго.

На другой завод общества фабрикантов (Анонимное общество) прислано от народных комиссаров свыше 500 тысяч рублей, чтобы можно было разом поставить на ноги, расширить и считать народной собственностью. Завод большой и обслуживает все фабрики нашего района.

17—I

Максималисты и печать

Вот уже два слишком месяца, как мы не видели, не читали своих максималистских газет и журналов. Да и прежде-то мы читали их из пятого в десятое. Воспитание наше идет через большевистскую прессу.

Мы воспитываемся на «Правде», соц.-дем., ну, бывает, и «Новой Жизни».

Нам, разрозненным, не имеющим совета и указания от старых партийных работников, от вождей — нам слишком трудно разбираться в вихре событий. Но эта безнадежность получить совет (не наказ) сверху имеет и хорошее последствие: она укрепляет сознание в духе самостоятельности, решительности, быстроты и личной инициативы.

Вехи предначертаны. Дорогу пробиваем сами. Форму борьбы создает сама жизнь, сама сложная комбинация отношений и фактов. Мы — чернорабочие в революции и не гнушаемся прикоснуться ко всякой грязи, лишь была бы уверенность, что прикосновение это целесообразно.

У нас нет органов, у нас нет вождей, мы одиноки. Но учение наше оказалось настолько правым, что большевики, партия голытьбы, подошли к этому учению вплотную и повторяют то, что наши вожди утверждали в 1906, а мы — с первых дней текущей революции. Часто не видим даже решительно никакой существенной, глубокой, принципиальной розни (ибо доктрина марксизма, как ее трактуют меньшевики, изжила себя окончательно), и тогда встает вопрос:

А какое дело самому-то трудовому народу до нашей верхушечной розни?

Мы не захотим назваться большевиками, а большевики — максималистами.

Это ясно, как дважды шесть, тут амбиция (и главным образом она). Не позволит. А народ разъединен. Добивается одного и по-одинаковому о разъединении. Трагическая бессмыслица.

Разумеется, с правыми эс-эрами или меньшевиками никакого объединения быть не должно, но с большевиками, право, за последнее время мы сошлись вплотную.

Дальше разделение нецелесообразно.

У Ленина в речи на III съезде советов доподлинно имеется такое место:

«партия, выражающая истинные стремления и истинные интересы крестьянства, есть партия левых эс-эров» («Соц. Дем.», 13 янв. 1918 г.).

Значит, признал же вот Ленин, что у эс-эров с землей дело обстоит удачнее, нежели у с.-д. Хватило мужества.

Так должно быть и во всем.

Принцип целесообразности должен доминировать надо всем.

Важно народу объединиться, победить и укрепиться, а как делить, как улучшать — это покажет сама жизнь. Все равно трафаретки эс-эров и с.-д. окажутся мертвечиной. Жизнь сама нанесет узоры и вариации и нанесет так, как окажется целесообразнее. Вот почему и спорить из-за программных пунктов не годится — они все равно лишь рекомендуемые вехи, а не рамки самой жизни.

18—I

Клуб рабочих

Вчера мною было установлено, что идея рабочего клуба мною усваивалась по-ребячески. Некогда было задуматься, некогда было разобраться. Вчера натолкнули. Я увидел, что та публика, которая являлась завсегдатаем прежнего клуба — кучка мещан, а не рабочие. Теперь только я увидел, что на них растрачивать свои силы, их забавлять — не стоит. Надо создать нечто более серьезное и создать именно для рабочих. На жизни учишься. Она обжигает и обнажает.

Разом узнаешь правду и просветляешься мгновенно. И как-то легко становится. Словно грязную тряпку сорвешь со светлых глаз; словно скользкий пласт оттащишь с полнокровного благородного сердца. Легко, твердо, весело станет от этого прояснения. Встаешь на грунт и чувствуешь, что больше с него не сдвинешься. Так и с клубом. Просветлел и понял разом, увидев дело в ином свете.

Ни сырья ни топлива, да и деньжонок-то никак не найдем. Текущих счетов никаких не находим, а денег не дают. Не только не дают, а и носу-то на свою фабрику не показывают... Необходимо с этими негодяями дело делать побыстрому. Их два хозяина.

На 28-ое декабря и 12-ое января мы вызывали их на обсуждение дела. Не явились, даже не ответили.

Теперь церемониться некогда, фабрику надо брать самим...

Сказано-сделано. Послана телеграмма народным комиссарам, ждем декрета о социализации.

А пока формируем новое правление. В этом отношении здесь имеются преимущества: служащие вошли в союз текстилей. Контакт на-лицо. Без дачки потерпеть соглашаются. Пряжу направим от Коновалова, хлопку возьмем у Каретникова, нефти пригоним из Кинешмы. Дело пойдет, мы верим в это.

21—I

Две лекции

Одна была в столовой Ивана Горелина 19-го, другая у Скорынина, в Горках-Павловых, 20-го. У Горелина было человек 250—300. У Скорынина человек 400 слишком. Тема старая: «Трудовая республика», отношение также старое, сердечное, внимательное, сочувственное. У Скорынина разошлось мелкой литературы рублей на 30, да фабричный комитет взял рублей на 20. Вот за два дня в комитет прибавилось рублей 200. А завтра — публичная лекция в городском театре: рабочие и солдаты — 30 коп., остальные по 1 рублю.

Интересно, придет ли интеллигенция, которой к лекторам-меньшевикам набивается, словно мух в стакан. Ни страху ни робости, как прежде. Уверенно, твердо буду защищать любимую идею.

29—I

Районный съезд

Мне на нем приходится присутствовать очень мало, ибо занят другой работой. Это, с одной стороны, а с другой — лень какая-то овладела, апатия, усталость. Не хочется делать, приниматься за что-нибудь большое. Готовлюсь к лекции:

1) Торжество максимализма,

2) Парижская коммуна и советы.

Но интенсивно не работаю и в этой области. Увлечение, повидимому, остывает. Рабочие волнуются с голоду, а тут еще подоспел декрет об отделении церкви... Попы агитируют массу в свою пользу и, надо сказать, весьма успешно. Днем пришлось уговаривать горелинских рабочих, а теперь вот экстренно уезжаю в Тейково — там волнение, рабочие вышли, попы ведут свою черную работу. Положение становится грозным. Религию затрагивать надо очень осторожно.

30—I

Тейково

Мы туда приехали глубокой ночью, был уже первый час. Я думал, что все кончено — не застали, мол, и баста. Оказалось, что народ ждал поезда. Когда подходили к театру, в раскрытые форточки валил пар и было ясно, что народу много. Театр был набит до крайности. «Приехал, приехали» — загудело по театру. Все оглянулись назад. Увидели Короткова — обрадовались. Некоторые, повидимому, узнали и меня. Коротков является здесь стержнем, на котором вертится вся политическая жизнь рабочей области. Его любят, ему верят.

Продовольственники там перепились пьяные. Возник пожар, где-то на чердаке, в воскресенье, когда не было присутствия. У народа явилось подозрение, что продовольственники пытаются в огне спалить свои грехи. Пожар остановили, книги спасли, пьяных посадили. Начался

обыск. Нашли 11 пудов у мельника и мешок в самой управе. Тут не дремали и жандармы в рясах: они распространяли свою гнусную клевету на советскую борьбу. Настроение было грозное. Через полчаса, однако же, мы оба уже завладели аудиторией. Мы были беспощадны и резки до грубости, когда приходилось касаться попов или провокаторов. Настроение рабочих было переломлено, мы уже безраздельно владели умами и, главное, сердцами слушателей. Битва была выиграна. Недоразумение было передано для разбирательства Совету. Наша победила.

Съезд 28—30-го

Он какой-то скучный, мертвый, малочисленный, безынтересный. Болтовни, правда, тоже не слышно, но нет и свежести, нет подъема, нет жажды и порыва к труду. Все вопросы разбирались как-то скучно, равнодушно. Выбрали Исполнительный комитет губернии (Красной губернии) в 20 человек. На плечи этим 20 ложится огромная тяга ответственной работы. Видно, что все переутомились, что так долго продолжаться не может, что мы, пожалуй, можем не предусеть психологию усталых, измученных масс. Почти половина делегатов на съезд не явилась. Видно полное безразличие. Людям ничто нипочем. Все чаще и чаще наблюдаются сепаратные выступления, все чаще и чаще люди забираются на собственную свою колокольню и лишь оттуда обозревают собственные владения. Усиливается эгоизм, раздражение, растерянность ...

В своей среде то и дело начинают вспыхивать конфликты — плод неимоверно трудной работы.

31—I

Реквизиция фабрики «Компания»

Теперь рабочим приходится уж не «захватывать» фабрики, не силою вводить там новое право, а волей-неволей они вынуждаются брать их во чтобы то ни стало. Приходится «принимать», а не «захватывать», принимать в истер-

занном, искалеченном виде, подкормить немного умирающую кормилицу.

В этом именно, в неподвижности, в пассивности народных комиссаров по данному вопросу — и заключается главный грех и причина безмерных трудностей, с какими тянется кое-как наша издыхающая промышленность.

Нужны героические, неимоверные усилия для того, чтобы снова поставить ее на ноги; нужно приложить «максимум» усилий, чтобы дать возможность рабочим остаться при станках, не говоря уже о каком-либо улучшении, прогрессе и прочих радостях мирного процветания производства.

Фактически предприниматели всюду устранены от производства, без разрешения фабричного комитета они не могут вывезти со двора фабрики ни единого аршина товару; не могут взять в банке ни копейки денег. Эту постоянную «невозможность» они, разумеется, компенсируют с лихвой другою возможностью — возможностью мешать всечасно и всемерно налаживающейся работе фабричных комитетов, органов контроля и надзора, временных правлений и других органов, которые становятся во главе предприятия. За все эти мучительно-трудные месяцы революции не было случая, чтобы фабрикант или его верный пес, обратился в Совет, как высший орган, за советом или за справкой по поводу раздобывания нефти, угля, пряжи, хлопка, денег.

Они, разумеется, видят и понимают, что при посредстве советов можно все раздобыть, если только имеется желание добывать — и хлопок, и пряжу, и деньги. Все это видят и все-таки ничего не делают, оставаясь сторожевыми псами при своих потерянных конурах.

На что надеются наши комиссары?

Или они еще верят в то, что хозяева «вобьют в предприятие» максимум средств, что тогда, мол, как раз и удобно будет их прихлопнуть. Но ведь надо видеть, с какой поспешностью торопятся они прихватить с потерянных фабрик все, что попадает под руку и что возможно достать. Они берут все; не брезгуют ничем.

Промахнулся фабричный комитет — они тотчас же получат деньги за проданный товар и сию же минуту «упла-

тят» ими «по счетам». Что это за счета, кому и когда они писаны — этого разобрать никак невозможно, хотя и принесут тебе целую кипу всевозможных оправдательных бумаг.

В предприятие, на нужды его, не попадет из них ни единой копейки. Все деньги целиком опускаются в бездонный карман перепуганного хозяина. Так было с Дюсиметьером.

Если возможность имеется запретить ввоз на фабрику сырья и топлива — этой возможностью воспользуются сию же минуту.

На фабрику, бывшую Коновалова, было привезено и стояло уже на станции Вичуга несколько вагонов хлопка.

Экс-министр Коновалов, видя, что дело после Октября сложилось худо, каким-то образом через свое правление дал «приказ» начальнику станции Вичуга — хлопок на фабрику со станции не выпускать.

Так продолжалось несколько дней, пока не узнал об этом Райсовет.

Если требуется оставить фабрику без нефти — они оставляют без всякого колебания. «Наша» ткацкая мануфактура проглатывает в месяц около 40 тысяч пудов нефти, а ее оставили было ни с чем, не снабдив в нужное время деньгами, не позаботившись о своевременной доставке ее на фабрику.

Да что говорить. Какие тут еще нужны факты, когда совершенно не имеется фактов обратного свойства, т.-е. фактов, свидетельствующих хотя бы о минимальной заботливости цепного пса о своей конуре.

И теперь уже опасным и нелепым анахронизмом остается факт «удерживания» у предприятия самого фабриканта, когда он всемерно вредит общему делу.

Это введение необходимо для уяснения причин разрушенности такой первоклассной фабрики, какою является фабрика Товарищества ткацкой мануфактуры.

Это огромная фабрика, на которой около 70 тысяч веретен, 2 183 станка, 5 018 человек рабочих. Хлопка требуется ежемесячно 18½ тысяч пудов, нефти около 40 тысяч пудов, денег на жалованье 1 300 000 рублей.

Работают в две смены; пряжи вырабатывают в месяц 15½ тысяч пудов.

Но теперь выработка пряжи прекратилась за недостатком хлопка. Прядильня встала.

Через два дня встанет и ткацкая.

Хлопка имеется всего около 1 000 пудов. Нефти закуплено, но еще не доставлено, — 45 тысяч пудов. Денег с интендантства за проданный товар следует получить 1 200 000 руб., да из Москвы по счетам 320 тысяч.

Если нефти нехватит — котлы можно в 3—5 дней переделать под угольное отопление, а в 10—13 дней под дровяное. «Были бы деньги, — говорят правленцы, — с деньгами мы все бы достали. А вот с пустыми-то карманами долго не проскачешь. Нам хлопка предлагали, но предлагали за наличные. Взять было негде, и пришлось отказать. Обошли мы все корпуса, все отделения — осталось впечатление могучей, здоровой, жизнеспособной громады, которую, подкармливая понемножку, можно сохранить на десятки лет. Станки, машины — все это чистое, твердое, надежное. В самом здании—тоже не в пример другим фабрикам—и светло и чисто. А дело все-таки останавливается».

И ясно, что в этой остановке «хозяйственная разруха» страны, «убийственный транспорт» и прочее — повинны только наполовину.

Фабриканты на фабрику не показывались и на запросы и приглашения отвечали глубоким молчанием.

18 января пришлось избрать новое правление взамен фабрикантского. Это правление и повело все дело. Фабриканты явились на следующий день, 19-го, но было уже поздно — им пришлось повертывать оглобли и отправляться восвояси.

Вот какую резолюцию мы приняли и подписали по осмотре фабрики:

«Комиссия по обследованию фабрики Товарищества иваново-вознесенской текстильной мануфактуры в составе командированных эмиссаром народного комиссариата Назаровым — тт. Янова и Долгова; представителя кинеш. районного комиссариата труда т. Лаврентьева; районного комиссариата промышленности тт. Фурманова и Репьева и ивановского районного бюро фабрично-заводских комитетов т. Шарова — всесторонне обследовала состояние фабрики и складов Т-ва, при чем выяснилось, что

с июля месяца администрация фабрики прекратила почти всякую заботу о снабжении фабрики топливом и сырьем.

«Главным образом заботами и хлопотами фабричного комитета, как непосредственно, так и давлением на администрацию, работа на фабрике продолжалась.

«В частности с ноября фабрика продолжала работать исключительно трудами фабричного комитета.

«В настоящее время за полным отсутствием сырья прядильная приостановила работы; в ближайшие же дни и ткацкое отделение вынуждено будет встать.

«В течение последних лет товары, вырабатываемые на фабрике, сдавались по цене себестоимости одному из главных пайщиков Товарищества: Т-ву м-р П. Витовой и с-ья, благодаря чему создавалась фиктивная бездоходность предприятия, а в настоящее время и дефицит.

«Поэтому комиссия полагает, что необходимо немедленно национализировать ф-ку Т-ва ив.-возн. тк. м-ры, при условии одновременного субсидирования предприятия в размере четырех миллионов рублей».

Такова наша резолюция.

Товарищи Янов и Долгов — хорошие ребята. Один инженер, другой специалист по волокнистике.

Только видно, что оба больше работали с книгой, чем с жизнью.

Не знаю уж, случайность это, или не случайность, только т. инженер три раза смешал «суровье» с «сырьем». Правда, слова по произношению сродны и оговориться ничего не стоит, но мне почему-то подумалось совершенно иное, даже, быть-может, и нелепое.

«Он, инженер, дескать, хорошенько и не представляет себе, что это за штука „суровье“ — вот и перемешивает с „сырьем“».

Повторяю, предположение, быть-может, и нелепое, но у меня оно было. Потом он ровницу назвал пряжей — это снова меня поколебало. Ходили мы по фабрике часа 3—4. Осмотрели все отделения, чувствовали себя при обходе на положении министров, а знали и понимали немного больше рабочих, а в иных случаях и значительно меньше. Контора заготовила все нужные сведения, сотворила свои отчеты и наделила нас мертвыми цифрами.

Отчет имеется у меня особо.

Сведения повезли народным комиссарам.

В ближайшие дни вопрос, повидимому, должен разрешиться окончательно.

17/4—II

Максималисты

Недавно пришлось исключить из партии двух членов:

Собственно говоря, членом был только Андрей Козлов; другой числился только кандидатом (Федоров). А. Козлов всем нам показался «оппортунистом», ибо по многим вопросам, возникавшим за последнее время (главным образом по вопросам о терроре, репрессиях, смелости и решительности действий) объявил себя крайне уступчивым и трусливым. Собрались мы, посоветовались, что и на собраниях-то он не был уже раза четыре — и, скрепя сердце, порешили исключить из группы.

А. Козлов вышел вместе с нами из группы эс-эров еще летом.

Первое время посещал заседания наши довольно исправно, но за последнее время начал определенно хромать; как видится пострусил и назвал себя «левым эс-эром». Исключили.

Кандидата Федорова исключили, главным образом, за то, что он всей группе пришелся не по сердцу своей интеллигентской склизлостью, тягучестью и половинчатостью.

Когда он начинал говорить, подымалось харканье, поплевыванье, хождение и т. д. Всем делалось невыносимо тошно. Подыскали формальный предлог:

1) Вы не имели права на опросной карточке Рабочего клуба писать: «член группы максималистов».

2) Три дня назад вы вошли в комитет и сразу кинулись к шкапу со словами: «где бомбы»? Какое вам дело, где они. Вы не член и об этом не должны говорить, особенно в подобной форме.

Исключили.

Всего теперь в группе осталось 24 члена и 6 кандидатов в члены.

Повидимому, членами следовало бы дорожить, но мы держимся на этот счет иного взгляда: исключаем и будем исключать безжалостно.

За последнее время замечается тяготение к нашей группе наиболее сознательных рабочих; ходят послушать «политическую экономию», наши беседы «по текущему моменту». Знают, что собираемся мы исправно два раза в неделю, что занимаемся, и это все заставляет проникаться к нам вниманием, чтобы не сказать больше.

За последние две недели вступило 4 новых члена и 4 кандидата.

Для нас, при нашей строгости, — это прирост весьма значительный. Прием производится таким образом:

Пришли, например, сегодня супруги Черняковы—старые максималисты, работавшие еще за прошлую революцию. Прослушали «политическую экономию», прослушали один частный вопрос и были высланы за дверь. Товарищи вполне откровенно высказывали свои соображения, припоминали, что знают о них по прошлой работе.

Выяснилось определенно, что оба они люди «свои», что принять можно с уверенностью. Приняли. А относительно других, которые еще не внушают такого полного доверия — ограничиваемся «кандидатством» на неопределенное время, пока не убедимся, что узнают как следует программу, уяснят себе формы тактических приемов; докажут, что смелы, прямы и решительны и что «наши» воистину. Тогда примем.

Эта строгость приема спасает нас от многих осложнений и неприятностей.

Теперь по городу идет слух, что у максималистов 50 пулеметов, бомбы, много всякого оружия.

Поперепугалось трусливое стадо мещан и притихло. Откуда-то знают, что обучаемся военному делу.

Три дня сряду занимаемся всей группой часа по два с инструкторами-солдатами. Один, Михеич, особенно потешен. Длинноносый с широкими утиными ноздрями, чахоточно-бледный, подпоясанный вервием и глотающий слова— он пытается, не взирая на немощь, представиться суровым воякой.

— Сме . . .е . . .е . . .рно.

Тишина. Только-что болтавшие соседи застывают, словно истуканы. На лицах закаменело внимание к выкрикам бравого «инерала».

— Кру...гом.

Все повертываются на 180°.

«Инерал» доволен, он хвалит максималистов и как на отрицательное указывает на большевиков, хотя сам заядлый большевичище.

— Сичас будем пальбу разучать... Эта вот стена, к примеру, буржуи. Буржуй может подойти и спереди и сзади. В строю говорить не полагается, потому что буржуй навсегда может сзади подойти, а мы тут разговариваем. Вот и крышка. Некогда тут растабарывать, слушать надо...

— Пальба по буржую... Рота...

Все вскинули винтовки, взвели курки, замерли:

— Пли...

Застучали курки, снова винтовки под мышкой; снова раздается знакомая команда «инерала»:

— Рота... пли...

Так за ученьем проходит часа два. Занимаются с нами и девушки-максималистки. Их три. В местной Красной гвардии их две.

Одна ездила с отрядом, застрявшим в Москве, против Каледина, на Дон.

Занятия идут дружно. Через несколько дней мы в полной боевой готовности. В следующий раз кончаем «политическую экономию». Остался последний отдел «социалистическое общество».

Дальше занятия я еще представляю себе довольно неясно.

Повидимому, будем читать отдельные брошюры по максимализму и анархизму; отдельные главы из «общественного движения в России в начале XX в.», беседовать по вопросам и задачам текущего момента. Горе в том, что некому заменить меня, уйду — и группа рассыплется. Это вижу и сам я, видят товарищи. Так и говорят: «Уйдете, и мы разойдемся». Они не принимают обыкновенно участия при обсуждении вопросов. Сказанное Дмитрием Андреевичем принимается с благодарностью к сведению. Если бы я не видел такого ревностного и любовного отношения к делу,

какое вижу — давно оставил бы растрачиванье времени для 10—15 исправно собирающихся товарищей. Но, во-первых, верю, что и они в конце концов направятся: во-вторых, «уча—учимся», а мне это, разумеется, важно. Рабочие все остались со мною и к делу относятся любовно, а вот относительно «дряблых» — дело обстоит иначе.

Из трех служащих — одного исключили и двое не посещают. Интеллигентика-реалиста исключили. Для этих категорий партийная работа интересна лишь на первые дни, пока идет организационная горячка, пока они увлечены, сами не понимая чем. А когда приходится работать — они в сторону: тут сухо, скучно, стеснительно, робко и опасно. Остаются одни рабочие и мы, любившие их вне всяких движений и положений. За это они ценят нас вдвое. Благодаря этому мы работаем для них втрое.

23/10—II

Губисполком

Первое пленарное было 18—5 с/м. Из 30 званых собралось около 20. Потому «около», что некоторые «здешние» приходили и уходили по иным делам. Председателем собрания избран Фрунзе. Это удивительный человек. Я проникнут к нему глубочайшей симпатией. Большой ум сочетался в нем с детской наивностью взоров, движений, отдельных вопросов. Взгляд — неизменно умен: даже во время улыбки, веселье заслоняется умом. Все слова — просты, точны и ясны; речи — коротки, нужны и содержательны; мысли — понятны, глубоки и продуманы; решения — смелы и сильны; доказательства — убедительны и тверды. С ним легко. Когда Фрунзе за председательским столом — значит, что-нибудь будет сделано большое и хорошее. Быть-может, губисполком и не сделал много и хорошего, но без Фрунзе не было бы и того, что есть.

На двух предварительных к пленарному заседаниях были распределены доклады между членами Райсовета и нового губисполкома. В пленарном заседании доклады были заслушаны, обсуждены и приняты с некоторыми поправками:

Продовольствие, Промышленность, Труд, Просвещение, Финансы, Земледелие, Администрация, Военный, Редак. Издат. Прения были оживленны. С глубоким интересом, вниманием и усердием следили мы все за претворением в дело наших собственных мыслей. Когда обсудят, сойдутся, выяснят и зафиксируют основные тезисы, словно гора с плеч свалится. Тяжело не только потому, что некому работать, но еще и потому, что нет у нас определенного плана в работе, что постоянно сбиваемся, путаемся, останавливаемся на полпути. А тут, посоветовавшись коллективно, уяснив себе план дальнейших работ, окрыляешься и чувствуешь, что руки стали крепче, грудь просторнее, а голова светлее. Таково именно действие подобных «деловых» собраний. Пустословия не было к нашей чести. Правда, тут не только «наша честь», а и уменье руководить у Фрунзе. Без него было бы нечто иное, может-быть, не на много, но — худшее.

Мне было поручено сделать доклад по просвещению. Губисполком состоит из комиссариатов с комиссарами, членами губисполкома во главе ... По этому подобию будет организован и комиссариат просвещения. Но «просвещение» в широком смысле нам теперь еще не по силам, да и не ко времени. Я больше освещал поэтому работу чисто культурно-просветительную среди рабочих и крестьянских масс: вечерние курсы, лекции, беседы, библиотеки, распространение газет, популярных брошюр — вот на первое время наша работа. Большого не сделаем. Реорганизация школ и принятие под свое крыло школ средних практически не даст больших результатов.

Ясного плана конструкции комиссариата не имею. По-видимому, он создастся в процессе работы.

На переломе

Третий раз переживаю я это состояние. Первый раз это было в конце августа, в корниловщину, во второй раз — в Октябрьский переворот, во дни керенщины и третий раз — теперь. Советы переживали это состояние еще раньше, 3—5 июля, когда меня еще там не было. Теперь та же горячка, та же возбужденность. Экстренно собрался Исполнительный комитет, представители городского самоуправле-

ния, губ. исп. ком. Спешно надо мобилизовать силы, учиться пальбе, организовываться самим. Германия продвигает свои полчища все дальше и дальше. Есть сведения, что взят Минск. Имеются сведения об угрозе красному Петербургу. В Москве пальба. Кто стреляет, в кого, по какому поводу — точно пока неизвестно. Бологое захвачено пленными немцами и австрийскими офицерами.

В Москве пленные офицеры посажены под арест; у нас они также содержатся под стражей. Черная сотня поднимает голову. Эс-эры и меньшевики еще пуще кричат про Учредительное собрание; директора фабрик, коллористы и разная иная прелесть все увереннее заявляют: «А вот погодите еще несколько дней... Больше недели не процарствуете...».

Много тут лжи, провокации, следствия перепуга и воображения. Все есть, но основа дела несомненно такова, что опасаться есть чего — гроза надвигается. И эта гроза как-то гуще, чернее тех, что встречали мы раньше. Есть тут симптомы, которые не сулят нам радости. В наших рядах нет уже прежнего единения. На-лицо — страшная усталость, деморализация, потеря в значительной степени прежнего уважения к Совету. Вчера рабочие Полушина и Бурылина (а по слухам и Куваева) настойчиво, вплоть до угрозы разгромом, требовали разрешения на коллективную закупку хлеба и на вывоз мануфактуры со своих фабрик, как компенсацию за грядущий хлеб. Тут уже открыто работают и служащие, ведут свою линию, а фабричные комитеты не только не оказывают должного сопротивления, а, наоборот, потакают массе и ничуть не пытаются поднять или удержать престиж Совета. Фабричные комитеты стояли во главе при этих категорических требованиях. Рабочие угрожали подойти к продуправе; о Совете молчали, но упоминали о том, что, в случае неудовлетворения, пойдут и снимут с работ все фабрики. Смягчающим для комитетов является то обстоятельство, что у местного Совета имеется неотмененным постановление (недели 3 назад) о разрешении свободных коллективных закупок отдельным ф-кам. Комитетские делегаты и упирали на это постановление. А некоторые члены фабричного к-та даже заявили, что не стали бы и требовать, если бы весь Совет (а не Исп. к-т) отменил это

постановление. Но факт остается фактом. Больших трудов стоило уговорить рабочих обождать до 10 часов утра следующего дня, ибо на сегодня созываемое экстренное совещание специально по вопросу о коллективных закупках. Пришли представитель райпродуправы (ныне продов. отдела при губисполкоме) сам губисполком, самоуправление, местный исполком.

Сидели часов пять до глубокой ночи. Говорили коротко, болтовни не было — все пять часов шел исключительно деловой, практический разговор (вообще болтовни за последнее время стало меньше). Были высказаны взгляды и соображения pro и contra. В конце концов, как на компромиссе остановились на решении выдать соответствующие разрешения от местного исполкома, обходя губернскую власть.

Только что покончили с этим делом, как на утро одна за другою стали поступать тревожные вести. Экстренно собрались. Выяснилось, что к бою мы не готовы. Лучше сказать — готовы только наполовину. Выяснилось, что члены Исп. ком. не умеют взять в руки винтовку, что надо срочно обучаться, не откладывая ни единого дня. Выяснилось, что милиция совершенно не доверяется своему начальнику. Имеется отряд конной милиции — это надежнее. Красной армии — всего человек 50. Красной гвардии — около 250-ти человек. Оставшегося гарнизона около 800 человек. Создана коллегия из представителей этих четырех ведомств, плюс четыре члена местного исполкома, плюс председатель коллегии, выбираемый исполкомом. Четыре члена исполкома заведуют каждый отдельным ведомством. Коллегия находится в распоряжении исполкома. Создали коллегию, и стало как-то легче. На завтра выпускается составленное мною воззвание, где выясняется сущность переживаемого момента. Снова та же знакомая бессменная тревога. Только и слышно: арест, револьверы, оружие, патроны, репрессии, автомобиль, захват... Словом — слова военного срочного момента.

И лица все те же, с которыми работал в предыдущих революционных комитетах. Все напряглись. Ждем грозу, готовые к бою. Духом бодры, сильны и тверды. Опасность сплотила нас еще теснее. Рука не выпускает в кармане рукоять револьвера.

Изгнание правых эс-эров

25-го было экстренное, внеочередное заседание Совета. Обсуждался вопрос о войне и мире. Собрание было закрытое, публику удалили. Два эс-эра, заядлые оборонцы, внезапно высунулись из толпы рабочих и предъявили какие-то удостоверения. Наши эс-эры до сих пор галдят за Учредительное собрание, за Керенского, за свое излюбленное примирение и соглашение. Советы они ненавидят, хотя и притворяются иногда непротивленцами. Народных комиссаров считают, как и вся мещанская тина, захватчиками и разбойниками. В советах они с нами не работают уже в течение многих месяцев. Кажется, все было порвано. И тут вдруг— пожалуйте бриться. Свалились, как снег на голову. Меня возмутили эта подлость и лицемерие. Когда мы изнывали от непосильной тяги, когда мы готовы были перестреляться от переутомления в припадках нервности — они стояли сложа руки в стороне, смеялись, глумились, проклинали, плевали на нас. А теперь, когда мы, усталые, собрались, быть-может, в предпоследний раз, чтобы решить, которая смерть славнее и нужнее великому делу — на фронте или здесь, — когда мы еще теснее сомкнутые грозной опасностью хотим, быть-может, в последний раз поговорить о своих победах, о своих завоеваниях, а на завтра выступить в неравный, опасный бой с полчищами германских белогвардейцев — теперь они, как крысы, прокрались к нам сюда, в наше святилище, подкрались подслушать, подсмотреть, «собрать материал», чтобы потом бросить нам в лицо неизбежные ошибки и на этих наших ошибках утверждать свою подлую клевету. Я первый восстал против присутствия этих лицемеров в нашем святилище — Совете.

Поднялись горячие прения. Оппортунисты заколебались. Соглашатели поднялись за эс-эров. Но ясно уже было, что живая речь проникла глубоко в душу рабочим Совета и решение их было можно предусмотреть. Эс-эры заметались, зашуршали бумажками, что-то пытались доказать, в чем-то хотели убедить. Все было тщетно: рабочие с по-

зором прогнали их с советского заседания, заявив, что здесь им не место, что мы принимаем в свою среду и критиков, но критиков, способствующих творческой советской работе, а не шипучих, как змеи, не колючих, как терний, зловредных и злокозненных, приходящих с худыми и темными желаниями. Их прогнали при всеобщем радостном оживлении, прогнали, как представителей партии, но отдельные эс-эры, представительствовавшие отдельные группы (городских служащих, фельдшеров) остались.

Когда эс-эры были уже прогнаны, наши соглашатели подняли этот похороненный вопрос задним числом и добились того, что вопрос был сдан на пересмотр Исполнительному комитету с тем, чтобы представить свое мнение на будущее собрание. Мнение это можно было угадать заранее. Так оно и совершилось: через два дня на советском заседании Исп. к-т заявил, что эс-эры и меньшевики могут присутствовать в Совете, но должно быть и право отвода: в каждом неудобном случае их можно будет «отводить», т.-е., говоря прямее, прогонять. Не знаю, согласятся ли они на это нищенское положение. «Отвод» был выработан в процессе прений. Наша группа заявила свой категорический протест против присутствия в Совете советских врагов. Незначительным большинством вопрос был решен не в нашу пользу. Меня не было. Я только-что в тот вечер вернулся из Родников. Вернулся поздно и притом с перехваченным горлом. Говорить не могу и до сих пор. Эти два грандиозных собрания изнурили меня до невозможности. На первом было около 4-х тысяч человек. Я был командирован губ. исполкомом, как пропагандист среди рабочих по вопросу о создании Красной армии.

Утомление

«Социал-Демократ» сообщил, что в первый же день, лишь только кликнули клич — в Петербурге записалось красноармейцев свыше 50 тысяч человек. Я очень высоко ставлю отвагу, беззаветную преданность революции петербургского пролетариата и все-таки на сей раз усумнился, да и по сие время не могу никак поверить сообщенному сведению. Я сужу по тому, что перед глазами, сужу по аналогии.

Я удваиваю, утраиваю, удесятеряю факты в пользу петербургского пролетариата, и все-таки ничего не получается. В Родниках, где слушали меня тысячи и тысячи рабочих, где работает свыше 11-ти тысяч человек, в Красную армию пока записалось всего... 6 человек, да и те были отосланы записываться кто в Иваново, кто в Кинешму. У нас в Иванове, в революционном гнезде, насчитывающем свыше 40 тысяч рабочих — пока записалось всего... 70 человек. Сознайтесь, что это мало, даже очень и очень мало. Так сказать несоответственно. А при том:

1) У Маракушева рабочие покрикивают за Учредительное собрание.

2) У Фокина, Грязнова и на заводе механических изделий (а вероятно и всюду) пришедшие с фронта солдаты (кстати сказать, элемент крайне ненадежный: эгоисты, скандалисты и требовательны до крайности, то и дело напоминая о своих долгих мучениях в окопах) заявляют, что никуда дальше своего города не пойдут, что мотаться по белу свету им надоело, но что здесь, на месте, они будут с оружием в руках отстаивать свои завоевания.

3) На остальных фабриках отнеслись, видимо, пассивно. Факты на-лицо: рабочие в Красную армию не идут.

Все утомились, изголодались, счахли заживо.

Совет принял постановление:

«Весь Совет без исключения, в том числе и Исполнительный комитет, становится под ружье и с завтрашнего дня начинает обучение».

На «завтра», т.-е. на 28-ое, было назначено первое заседание революционного трибунала, так что обучение не состоялось. К слову сказать, уличенного спекулянта Кузнецова присудили к 100 тысячам штрафу и 6 месяцам принудительных работ.

Максималисты

На прошлом собрании мы закончили «политическую экономию». Она как-то склеивала наши собрания, нашу работу. Каждый знал, что там что-то постоянное, что-то надежное, о чем не будет излишней болтовни. Надо было

чем-нибудь ее заменить. Сегодня приняли такой план дальнейших работ:

Изучаем народнические партии, эс-эровскую, максималистскую, потом эс-дековскую, кадетскую, правые партии. Будем читать об анархизме. Будем, разумеется, беседовать и по текущему моменту, не говоря уже о текущих комитетских делах и вопросах.

Приходят к нам наши газеты из Питера, но приходят слишком поздно. С громадным трудом приходится распространять их среди рабочих, никто не берет, говорят, что слишком поздно. И все-таки ежедневно распространяем до 200 штук, а иногда и больше. Каждый из нас берет по 10—20 штук и во что бы то стало обязывается их распространить. Только таким образом и удается. И, несмотря на это, пришлось штук 600 раздать бесплатно. Литература под исход. Как-нибудь на днях поеду в Москву и закуплю, приблизительно, на 1 000 рублей по постановлению группы. Денег теперь у нас имеется около $3^1/_2$ тысяч. От последнего вечера осталось свыше $1^1/_2$ тысячи рублей, благо не отдали мы никаких налогов — ни городских ни военных.

Товарищи-члены посещают группу исправно два раза в неделю.

Некоторые из членов берут заимообразно из нашей комитетской кассы и вообще чувствуют, что это свое родное, что тут можно спросить не унижаясь.

Продолжается обучение военному строю и пальбе.

Настроение в высшей степени твердое и уверенное. Почти все подумывают об отправке против германских белогвардейцев; удерживает лишь огромная работа по Совету и фабричным комитетам.

6—III

Максималисты

Мы спешно обучаемся военному строю и пальбе. На днях местный Исп. к-т переслал в наше распоряжение 15 винтовок и 1 000 патронов — это, кроме прибывших ранее из Москвы. Два дня назад изучали строение и способ метания гранат.

На днях т. Баталин принес три револьвера, которые были тотчас же розданы товарищам. Сегодня из групповых денег даю 500 рублей на браунинг и наган (300 и 200 рублей). Это лишь приманки. Узнаем, где хранятся и устроим экспроприацию. Кто-то откуда-то привез и спекулирует оружием. Накрыть требуется непременно. Дальше: буржуазия обложена на миллион, торговцы на 500 тысяч. Съежились, не дают, чуть не плачут. Но деньги, несомненно, имеются. Может-быть, несколько позже и в этой сфере будут необходимы экцессы.

Вчера обсуждали вопрос о выступлении особым партизанским отрядом. Внешние условия таковы. В самую важную минуту, когда единодушный призыв мог зажечь энтузиазм, священное пламя было затушено в зародыше призывом к замирению такого великого борца, как Ленин. Дело было безнадежно испорчено. Массу, успокоившуюся на этом призыве, сдвинуть было невозможно. И у себя на месте, по опросу, мы видели, что вернувшиеся с фронта солдаты берутся защищать революцию только «здесь» на месте. Рабочие отзываются вяло и не записываются в красные ряды. Многие спрашивают о жалованьи, многие относятся определенно отрицательно. У Куваева, например, согласился итти «весь» фабрично-заводский комитет. Пока собирались, 5 человек отказались, а когда собрались, отказалось еще 10 и осталось только 10 коммунистов, да 10 человек рабочих — простых смертных. А куваевцы ведь передовой авангард даже в нашем городе; там своих фабричных красногвардейцев около 80 человек. Чего же ждать с других мест? Лично я подъема не жду: он был задушен первоначальным расколом. Теперь идут с мест крошечные группы советских работников, членов союзов, комитетов, партийные вожди. А масса молчит. Без нее мы одни ничего не сделаем. Погибнет бесполезно и немедленно, ибо нас очень и очень мало. 12-го съезд советов — он скажет свое вещее слово. Мы до призыва съезда не выступаем, но здесь, на месте, спешно обучаемся, чтобы во-время быть готовым к отправке, в которую верим мало и которая звучит действительно «революционной фразой». Массы жестоко устали. Идут и борются только вожди, а снизу, чем дальше, тем больше возмущений, несогласованности и явного безобразия.

Самоубийство Ив. Вас. Беляева

На первом же заседании пленума Губ. исп. комитета Ив. Вас. был назначен комиссаром промышленности. Человек огромной энергии, незаурядных способностей, большой душевной чистоты — он привлекал сердечностью обращения и содержательностью разговора. С ним чувствовалось как-то особенно легко и уверенно. Теперь неделю назад мы командировали его за 30 миллионами в Петербург. Сегодня получена от Малютина телеграмма: «5 марта в девять часов вечера дорогой Ив. Вас. Беляев кончил жизнь самоубийством...». Бедняга не вынес мучений, страшной пытки от сознания безвыходности, пытки, которая терзает каждого из нас. Его замучила последняя весть об эвакуации Петербурга. «Следовательно, денег скоро не получу... Рабочие волнуются, бунтуют... И все по моей вине...». Эта мысль его замучила — о ней сообщает и Малютин. Отправляясь, дорогой Ив. Вас. говорил нам, что мозги не в порядке, что следовало бы немного передохнуть, что скоро, может-быть, придется итти в желтый дом. Только не в желтый дом, дорогой товарищ, в могилу. Мы лишились прекрасного работника, хорошего товарища, крупного революционера. Без него даже замнется работа в комиссариате промышленности. Мы повинны в его смерти, ибо не учли его измученности, не поверили тому, что он стоит на грани. Он не отказался — и поехал. Просился в Красную армию — мы не пустили; просился в больницу — не пустили. Сказали, что должен ехать — и он поехал. Революционная покорность и глубочайшая дисциплина осилили его личные побуждения и устремления. Эта жертва должна показать нам лишний раз, как напряженно теперь всем надо работать, как надо поровну делить тяжелый труд. Взвалили вот человеку на плечи непосильную тягу и угнали раньше времени в могилу. А мог бы работать и сильно, крепко мог бы работать человек. Закачали, замаяли. Раз он уже лежал в больнице. Только мало. Душа не терпела больничного покоя — рвалась в самую жаркую работу. И вот венец — самоубийство, знамение слабости. Значит большую тягу нес человек, когда — большой и сильный — принял долю маленьких и слабых.

9—III

Универсализм советских работников

Чтобы работать достойным образом в Совете надо быть универсальным человеком. Мы этот универсализм часто заменяем смелостью — смелостью решений «по здравому смыслу». Приносит, к примеру, конторщик мне на показ и на утверждение цены товаров, имеющихся в образцах:

— Как вы полагаете, подойдут эти цены или нет?

— А их кто проставил?

— Николай Трофимович Бубнов.

— Так... Ну-ка, покажите...

— Да.. вот этот хорош, низко проставлен (надбавляю 1—2 коп.). А на этот чего уж он перехватил больно — тут и рубля девятнадцати довольно... (прежде стояло 1 р. 20 к.). Авторитет сохранен. Принесший соглашается с моими новыми расценками, уходит удовлетворенный и потом сообщает соседу по столу:

— Откуда только у него такие познания? По всем отраслям работает...

Да, жизнь заставляет быть универсальным. Вся текущая работа Губ. исп. ком-та возложена на одного меня. Пряжи, ткань, суровье, уголь, финансы, конфликты, кража, дела бракоразводные, школьные, церковные — все это разрешается у этого вот дубового стола, где сидит т. Фурманов. И люди уходят успокоенные, удовлетворенные. А сам я, вероятно чаще их, неудовлетворен своими решениями. Мне за них часто неловко перед самим собою. Нередко я их стыжусь сообщить, хотя бы такому строгому критику, как товарищ Любимов. Нередко я даю распоряжения почти шопотом. Но это все частности, — а в целом большая уверенность, успокаивающая твердость и определенность ответов. Ни одна из областей не налажена, как следует. Выпускать ли, положим, мануфактуру багажом? Как общее постановление: нет, не выпускать. Но теперь ведь таково положение, что, во-первых, железная дорога не принимает погрузку, во-вторых, если и примет, то за целость груза не отвечает. У этого вот мужика всего 20—25 кусков, а вести

ему надо к чорту на кулички, чуть не под Гималайский хребет. Если приедет пустой — будет нахлобучка и всеобщее презрение, а если, не приведи бог, пропадет мануфактура, тогда поминай, как звали: окрещенный вором и расточителем — спасайся лучше, куда очи смотрят. Вот положение: никаких гарантий того, что мануфактура прибудет на место, никто вам за нее не ответит, никто не будет знать, куда она переправлена, где «затерялась», как теперь обычно выражаются о тех вещах, что украдены минуту назад почти у всех на глазах. У мужика открытое, простое, честное лицо. А у этого вот, что стоит рядом с такою же бумагой и с целою кипой удостоверений, заявлений, рекомендаций и прочего хламу, у этого рожа самая отвратительная, беззастенчиво хищная, тупая, но хитрая и пронырливая, свидетельствующая о большой будничной ловкости и больших спекулятивных способностях. За долгие месяцы мы привыкли различать их почти без ошибки — спекулянтов, грабителей — всех цветов и оттенков. Он ежится, упрашивает, доказывает что-то, в чем-то оправдывается, хотя его никто ни в чем не упрекал. Встает вопрос: если позволить мужику-землеробу вывезти ситец багажом, почему, на каких основаниях отказать тогда этому явному спекулянту и негодяю? По аналогии дел придется давать разрешение и ему. Обычно даешь не сразу. Первоначально справляешься и просматриваешь все документы, расспрашиваешь куда, что, кому и зачем... Когда все прощупаешь и чувствуешь бесплодность занятия, отказываешь и сообщаешь о вредности пересылки багажом... Это, разумеется, совершенно не действует. Мужик тебя сшибает с ног своими могучими доводами, окончательно выясняет всю бесполезность покупки, если только товар не будет выдан на руки. Происходит небольшая заминка, молчание, как будто колебание. В подобные моменты, чтобы колебание склонить в свою сторону, по всей видимости должна даваться взятка: это самый важный момент. У меня случая предложения взятки еще не было, а жаль — упек бы я его, мерзавца, куда следует. Одного негодяя, предложившего взятку т. Кадыкову, я уже посадил. Между прочим, скажу два слова и по этому поводу. Кто теперь может сажать? Кто освобождает и кто отвечает и перед кем отвечает за свою ошибку? Вот я, Дмитрий Андреевич Фурманов,

вызвал двоих красногвардейцев, «приказал» отвести негодяя в тюрьму и баста. Сидит он день, сидит два-три, наконец, вызвали, допросили, опять посадили. Знает об этом нач. милиции, знает Исп. комитет и никто мне ни словом не заикнется о справедливости или несправедливости моего поступка. Если бы я его застрелил (а я немного не застрелил, когда увидел у него на столе печать Районного Совета), и тогда меня едва ли бы к чему-либо присудили. Вот наше право: брать негодяев живыми, не церемонясь долго, не разбираясь в тонкостях мертвых законов. С таким же успехом мог его посадить и любой член Исп. ком., а, пожалуй, и не только Исп. к-та, а и Красной гвардии, Красной армии, бюро ф.-з. к-та, проф. союза ... — словом, кому только не лень из тех, что работают бок-о-бок с Советом. Это случай маленький и частный, но, вообще говоря, мы ни за что ни перед кем не отвечаем. С нами сознание права, и с нами вооруженная сила. Мы отвечаем только перед своей собственной совестью. Приносят для утверждения книги, положим, от Бурылина, там фигурируют сотни тысяч рублей, там нет подписи председателя ф.-з. к-та (ничего — у меня же на глазах подмахивает кривулями т. председателя). Все эти цифры, разумеется, следовало бы проверить, кому-то предварительно сдать на просмотр и т. д. Но нам некогда, а главное некогда и бурылинским рабочим. Через минуту красуется «Заверение в подлинности приводимых данных». Тут и печать Губ. исп., тут и нужные подписи. Вообще в нашей работе пока «хаоса бытность довременна». Теперь расширяются комиссариаты. Требуются сотрудники «с рекомендациями общественных организаций или партий». А вот эти два — экс-офицеры, что приняты вчера в мануфактурный отдел — не имеют никаких рекомендаций, никто не знает, кто они такие. Вообще наблюдается некоторое засорение Совета, неразборчивость в смысле набора штата служащих. Предложение труда огромно. Много интеллигентов соглашаются принять любую работу лишь бы иметь какой-нибудь заработок. Это обстоятельство, наплыв чужих лиц в Совет, меня весьма удручает и очень беспокоит. Удручает потому, что утверждают нашу «пролетарскую» беспомощность; беспокоит потому, что я подозреваю какой-то адский план буржуазии — взорвать Советы изнутри.

14—III

Смертная тяга

Наше положение трагическое. Все рушится, гибнет на глазах. Рабочие волнуются, не слушают, ибо видят, что «слушанием» сыт не будешь. В Кохме бунтуют, избили т. председателя Совета. Требуют хлеба и «дачку». А у нас ни хлеба, ни денег, ни надежды получить все это в близком будущем. «Миллионы» все еще идут, а когда придут — одному Аллаху известно. Большевики все еще не берут производства в свои руки, тогда как хозяева расстраивают их самым наглым образом у всех на глазах, и когда испортят в конец — издастся декрет о «национализации» никуда негодного предприятия.

Комиссариат просвещения

Этот комиссариат организовать поручено мне. Поручить поручили, а на работу не пускают. Зарядили меня в президиум и утопили в текущей работе. Организовать отдел просвещения, таким образом, нет совершенно времени. Все-таки кое-что, между делом, я стараюсь подготовить. Приглашено несколько сотрудников: Фролова, Сазонов... Мы собирались два раза и кое-что пообдумали. Выходит так, что работать все-таки некому и посему сразу раздвигать работу в губернском масштабе не придется. Раза три-четыре помещал я публикацию о том, что в ком. просвещения требуется-де ответственные руководители, по отделам дошкольному, школьному, внешкольному... Но руководители не являются, приходят мальчуганы, ученики, годов по 18, но им, разумеется, одним делать тут нечего. Теперь мы вчетвером все-таки кое-что наметили:

По школьному — Мекш. По дошкольному — Сазонов. По внешкольному — Фролова.

На мне лежит общее руководство всей работой. Мы решили следующее:

1) Комиссариат организовать из социалистов, но не по принципу партийности, а по деловитости, по способностям

и знаниям, по любви и преданности делу, по взглядам на трудовую массу.

2) Не увлекаться широкими планами, ибо нет работников, денег и условий для мирной, углубленной работы. Надо сразу встать на твердые ноги. Совершить что-нибудь конкретное. Создать университет (?), курсы, хорошую библиотеку.

3) Работу сосредоточить, главным образом, на Иванове, опять-таки в целях экономии наших малых сил. По аналогии можно создавать просветительные центры и в других городах нашей губернии.

4) Созвать городскую конференцию и выяснить нужды учительства и учащихся, нужды школы. Это, во-первых. Во-вторых, выяснить окончательно физиономию учительства, дабы знать, до какой грани мы будем итти вместе и где разойдемся. На этой конференции будет представлена не только школа. Будут родители, ученики, представители общественных организаций, культурно-просветительных обществ. Выясняется, что у некоторых организаций недвижимы десятки тысяч рублей, отчисления на просветительную работу. Их необходимо пустить в дело. Перестали функционировать приюты, необходимо воротить работу. Имеются мастерские, где нет руководителей, их можно открыть и пустить туда детей. Словом, имеется многое, к чему следует притронуться теперь же. На постоянную работу соглашается только Фролова, но она, как водится, прекрасная болтушка и второстепенная работница. Людьми комиссариат пока-что очень беден. Мы собирались два раза. На следующем собрании каждый представит план работ по своему отделу и приблизительную смету расходов на первое время (только по Иваново-Вознесенску).

Как выясняется, учительство косно, индифферентно и низкопробно по развитости. Учителя низших школ (главным образом, учительницы) на собраниях присутствуют лишь при обсуждении вопросов о прибавках, улучшении санитарных и гигиенических условий и проч. С вопросов педагогического характера одна за другой исчезают. С такими работать будет трудно. На конференции мы выступили с докладами. Намечается около 5 докладов по всем вопросам. Конференция даст материал. Мы его пережуем и порешим, как быть дальше. На этом пока встали.

22—III

Комиссариат просвещения

Он, разумеется, до сих пор не организован. Поручили дело делать мне, а из президиума не выпускают. И вместо просвещения народного приходится ведать пряжей, финансами, пропусками, разрешениями, конфликтами и проч. Устраиваем мы по одному, по два собрания в неделю, но все это товарищеские беседы только. Ничего мы не предпринимаем, ни к чему мы не приступаем. К последнему заседанию следовало представить свои соображения относительно постановки дела в Иванове. Арсений дал очерк предстоящей работы по дошкольному, а т. Фролова и Мекш промолчали — им было поручено сделать доклады по внешкольному и школьному делу. Они ничего не собрали, ничего не приготовили. Ясно было из слов т. Мекш для меня одно: учителя начальных училищ к советской организации симпатий никаких не имеют. Разумеется, они почти всему подчинятся, ибо не герои, да и бедны суть, а с душой работать вместе с нами все-таки не будут.

Ни у кого из нас не имеется конкретного, более или менее отчетливого плана предстоящей работы в губернском масштабе. Относительно работы в Иванове Арсений, например, мыслит, правда, отчетливо, но к проведению плана в жизнь приступить пока невозможно, ибо совершенно нет денег. Отсутствие денег является общим препятствием во всех областях. Надежд на получение не имеется; помощи ждать неоткуда; рабочих раскачать трудно, ибо сами они сидят по месяцу, по два почти без копейки. Например, сегодня делегат из Кохмы сообщил, что рабочие плачут и угрожают Совету, ибо не на что им даже выкупить те два фунта муки, что выдают теперь через кооператив. Нужда смертная. Взять совершенно неоткуда. Комиссариат просвещения сядет на мель. А организовывать его следовало бы теперь же, ибо уже начинают поступать разные бумаги из учебных заведений, приходят служители, казначеи школьные канцеляристы и проч. Нет времени. Нет денег.

На днях категорически откажусь от президиумской работы и займусь своим делом. Поеду в Москву. Надо хоть

с кем-нибудь поговорить, посоветоваться, узнать, что уже имеется и что предполагается устроить; может-быть, уже имеются определенные планы предстоящих работ — все надо узнать, я ведь ничего не знаю, даже и декретов-то по народному просвещению не помню. А их накопилось, вероятно, порядочно. Немало, вероятно, в них противоречий, надо все собрать, рассмотреть, комбинировать и координировать. По вопросу о конференции решено было посоветоваться с лицами, работающими по просвещению при местном совете и самоуправлении.

О средствах придется поговорить с правлением профессиональных союзов, Советом, союзом кооперативов.

Необходимо будет позаботиться о зданиях для начальных школ, ибо ребятишки живут и учатся бог знает в каких условиях.

Придется отнять несколько фабрикантских домов.

Надо бы озаботиться и относительно трудовых колоний, яслей, приютов и проч.

Близ города пустуют хорошие имения — их возможно будет взять на лето для детей. Много кое-чего следовало бы делать теперь же, но делать невозможно. Да и не верю я, что смогу успокоиться на таком тихом, неполитическом деле. Меня захватила, не отпускает, да и не отпустит скоро чисто политическая, массовая работа. До школ, до обучения, до всего вообще, что так дорого было мне до революции, до всего этого мне нет никакого дела, разумеется, в данное горячее время. Я поглощен борьбой и на тихую работу не гожусь. А другим заменить некем, вот и приходится нести работу, к которой не лежит душа, которую органически не приемлю в данный момент. Да эту двусмысленность положения сможет разрешить суровое время и без нас — вулканическим взрывом.

25—III

Анархисты

На одном из недавних заседаний наша группа максималистов голосовала за и против государственности. За — ни одного, против — 14, один воздержался, так как не счи-

тал себя достаточно подготовленным к ответу. Таким образом, вся группа определенно сказала:

— Мы, — анархисты.

К истории перехода скажу: товарищу Фурманову в этом деле принадлежит не последняя роль. В течение последних 3—5 недель он все больше и чаще думал о свободной коммуне и, наконец, признался перед собою, что стал в душе анархистом. Это было предчувствием скорой перемены символа веры, это еще не было отчетливое, яркое осознание себя анархистом. События ускорили дело: приехал экс-максималист, ныне анархист-синдикалист, т. Черняков. Он анархистом стал всего 6 месяцев тому назад. Теперь к нему определенно льнуло несколько членов группы. Тов. Фурманову, признаться, стало несколько обидно, что популярность его сразу падает; что некоторые члены только вчера с глубоким вниманием прислушивавшиеся к каждому его слову, что эти товарищи теперь иронически относятся к его заявлениям и одобрительно кивают головами, когда начинает говорить т. Черняков. Особенно обидно было т. Фурманову на то, что сам он, в душе анархист, вел уже целые недели определенную политику у себя в группе, постепенно подготовляя товарищей к принятию анархических идей, знакомя их с учением анархизма. Устраивал чтения на эту тему, беседовал устно. А теперь, когда все уже подготовлено, является вдруг т. Черняков и начинает говорить то же, что и т. Фурманов, только более отчетливо, более резко. Он убежденный анархист. Кроме того — бесспорный демагог. Смел, решителен, давно знаком товарищам и пользуется среди них популярностью. Лишь только он начал говорить, товарищи сочувственно закивали головами. Черняков пожинал то, что было посеяно Фурмановым, и этому последнему было очень обидно на то обстоятельство, что сам он очутился на втором плане. Самолюбие и заставило ускорить дело. Тов. Ф. тут же на первом собрании открыто заявил:

— Скажу вам, товарищи, откровенно: в течение 1½—2-х последних месяцев я чувствую себя анархистом. Вся тактика наша, вся работа, взгляды — все у нас анархическое. Только какая-то фальшивая скромность заставляет нас поддерживать организационную связь с максималистами. Я давно уже не государственник, я иду к коммуне.

Он сказал, разумеется, правду, но многого не договорил. На душе была зависть к успеху товарища Чернякова, злоба на то, что приходится раскрываться прежде времени и торопиться с объявлением себя анархистом. А торопиться приходилось потому, чтобы это осознание себя анархистом товарищи, да и все вообще, не приписывали воздействию т. Чернякова, ибо в действительности совсем не он, а сама жизнь пригнала целую группу максималистов к анархическому источнику. А самого т. Ф. к анархизму окончательно толкнул... что бы вы думали? Продовольственный вопрос. Ему стало ясно за последние недели, что как ни делай, как ни заботься о закупках «в крупном масштабе, областном, районном, губернском» — с такими закупками мало толку. Необходимо разрешить закупку отдельным коммунам более или менее крупным. Они несомненно примутся за работу более активно и спасут нас от продовольственного краха и голодного бунта. Во-первых, следовательно, в крупном масштабе не удается сразу закупить достаточное количество. Во-вторых, если даже хлеб и приходит, он распределяется неправильно. Возьмем к примеру, наш город. В уезде всего около 230 тысяч человек. Из них в самом Иванове 108 тыс. И на эти 108 тысяч берут $^{2}/_{3}$ всего хлеба, тогда как степень нуждаемости в ближайших пролетарских деревнях и селах совершенно такая же, как и в городе. Создаются привилегии, идет обман. Чтобы избежать всего этого, необходимо дать право закупки коммунам, не мешечникам, а коммунам. И вот в душе засело это увлекательное слово «коммуна», засело и не давало покою. «Коммуна, коммуна, коммуна...» рокотало в мыслях... Скоро мысль о необходимости децентрализации (вопрос о власти совершенно еще не принимался во внимание, не занимал) стала подтверждаться массою фактов по другим отделам — мануфактурному, финансовому, топливному... На годину революции (28-ое, 13-ое) мы готовили флаги.

На одном стояло:

За Трудовую республику,

на другом:

Жить работая или умереть сражаясь,

а на третьем сияло:

На борьбу за вольные коммуны.

Этот лозунг он взял из «Голоса Труда», взял «самочинно», не спросив даже согласия отдельных членов группы.

Флаги ни разу не были подняты — они и до сих пор лежат свернутыми в комитете. Демонстрация была отменена, ибо советские не надеялись на голодные массы, которые во многолюдьи да голодные — плохие большевики. Коммуна преследовала т. Ф. по пятам. Он еще не признавался открыто даже перед самим сабой, что стал анархистом, но уже чувствовал, что в мыслях и в сердце совершается что-то большое... Потом начал подготовительную работу в группе. Тут-то и подоспел т. Черняков. Было страшно обидно, что выпадала пальма первенства. Говорю, как на духу, всю правду матку. Зло было — обидно и завистно.

После голосования «за и против государственности», у него были основания утверждать, что «вся местная группа максималистов стала анархической группой». Он торопился, страшно торопился, чтобы отнять у т. Чернякова все козыри к утверждению, будто группу сделал анархической он, т. Черняков. А на первом же заседании в присутствии т. Чернякова он вполне сознательно и устроил это голосование, устроил единственно для того, чтобы показать, что все уже готово, что т. Черняков опоздал, все окончено. И торопится он во всем: на лекции железнодорожников торопится заявить, что «вся местная группа максималистов перешла в лагерь анархистов»; говорит о себе, как анархист, заявляет об этом в пленуме губисполкома, даже этим мотивирует свое решение уйти из президиума:

«Мне, как анархисту, заявил он, невозможно оставаться у власти... Я, разумеется, не брошу дела наполовине (?), но предлагаю вам поскорее кого-нибудь дать на мое место, а сам я буду работать там, где нет властвования — в комиссариате просвещения...».

Это заявление было сделано твердо, спокойно, деловито, как будто т. Ф. был убежденным анархистом, по крайней мере, десяток лет. А на деле... На деле он ведь всего прочел лишь две-три анархические брошюры... Ну, разумеется,

газеты читал, но все-таки, сами видите, анархист юный, пустяковый.

У себя же на комитетском заседании заявил:

«Слава богу, я к анархизму прикасаюсь не первый денек. Я не только сегодня начал читать о нем, а знал его еще и до революции, я . . .».

Дальше говорить было нечего. Все загуторили, объявляя, что они в этом и не сомневаются. Ай-ай, ребята, какие же вы, право, доверчивые. А ведь я знаю совсем почти столько же, что и вы, только скажу покраснее . . .

В воскресенье т. Черняков в депо читал лекцию на тему: «Текущий момент и анархисты».

Лекция совершенно беспорядочная, малосодержательная, беспланная, даже и не лекция, а скорее митинговая речь, которую произносит человек во что бы то ни стало пытающийся каждый раз подчеркнуть, что он анархист — именно анархист и ни кто-либо иной. Во многих местах было неловко за лектора: обнаруживалась демагогическая привычка играть на темных склонностях, на мелких эффектах, дубовых остротах. Толпа смеялась лектору, а я смеялся над толпой, в душе сожалея обоих. Потом, когда пришлось выступить т. Ф. было неловко и за него. Было видно, что анархистом он стал со вчерашнего вечера: мешается, робеет затрагивать принципы, опасается густо провраться. Все больше идет по фактам — тут уже не ошибешься: вот они все на-лицо, а выводы делай сам, какие вздумаешь.

Этой же аудитории два-три месяца назад он читал лекцию о Трудовой республике — он тоже еще был максималистом, государственником, «властью».

А теперь? Теперь он определенно заявляет: «Мы анархисты» и т. д. и т. д.

Тяжело ему менять старое имя. Краток срок. Крут перелом. Власть и безвластие; государство и вольные коммуны — тут нужен совершенно иной язык. Лекция шла часа четыре. Оттуда прямо в комитет на собрание — там просидел еще шесть часов — без пищи, безо всего . . . Да так увлеклись, что и расходиться не хотелось, только переутомились уж некоторые. И было о чем поговорить — анархизм всем еще не ясен, подымается уйма жгучих вопросов, они

требуют исчерпывающего объяснения. Коренной вопрос — о советской работе — оставаться нам в советах или нет? Работать в советах или против советов? Против советов, как таковых бороться нельзя, даже, если из Совета и уйти — на этом все мы сходились, но по вопросу об участии в Совете раскололись приблизительно пополам. Соображения за и против были одинаково сильны, и каждый остался при своем. Идеологами течений были Черняков и Ф. Первый — уйти, второй — остаться. Тов. Черняков говорил:

— В Петербурге анархисты ушли из Совета после Октябрьского переворота, т.-е. с того момента, как советы стали властью. До тех пор советы властью не были и имели непосредственное общение с массами, отражая их волю. А теперь? Только молчим... Разве это не власть? Да что он хочет теперь, то и делает. Захочет вот меня, анархиста, посадить в тюрьму и посадит. И не пикнешь, никто за тебя слова не молвит.

«Советы ушли от массы, зарылись в работу чисто бумажную и не слышат, что делается на местах, не внемлют голосу жизни.

«Советчики стали аристократами демократии. Присиделись в теплых местах, устроились, обзавелись, как следует: высокие чистые хоромы (а рабочие ведь все еще в лачугах), автомобили и коляски, доступный хлеб, масло, сахар, калоши, словом, что хочешь. А есть это у рабочего? Нет. Члены Совета (И. к-та) жалованье получают в любой день, на любую сумму — авансом.

«А вот вам Горбуновская ф-ка, которая в наши дни в конце марта расплачивается еще только ... за декабрь. А за 1½—2 месяца и очень на многих фабриках не получили. Затем и цифры — сколько вы получаете, столько ли, что и простой рабочий? Нет. Больше и значительно больше. Создаются привилегии, преимущества, идет неравенство.

«Советы занялись борьбой политической, а надо решать вопросы экономические, надо торопиться с захватом, надо организовать низы, а у вас что?».

Тов. Ф., всю революцию работающий в Совете, видевший и переживший все этапы развития советской работы, отвечал ему столь же убедительно:

— Прежде всего не из о всех советов анархисты ушли. Они остались в Питере, Кронштадте, Харькове (Ф. утверждал это смело, а между тем совершенно не знал — вышли или не вышли; спекулировал на незнании аудитории, а на деле вышло, что вызвал на откровенность т. Чернякова и тот сознался, что в Питере «некоторые анархисты» остались в Совете, тогда как прежде об этом молчал).

«Следовательно, раз некоторые остались, абсолютного единства у анархистов по этому вопросу не имеется, и, оставаясь в Совете, мы лишь примыкаем не к тому течению, что т. Черняков, и отнюдь не подрываем каких-либо принципов общих всем анархистам безраздельно — здесь против анархизма преступления нет.

«Во-вторых, Совет властен лишь там, в центре. А у нас — разве он власть? Разве он приказывает и наказывает. Да отнюдь же нет. Он как раз и является тою организацией, которая так или иначе регулирует экономическую жизнь. Он уже вовсе перестал заниматься политикой, хотя бы по одному тому, что некогда. Теперь ведь на повестке дня одни лишь хозяйственные, экономические вопросы. В самом деле, посмотрим хотя бы повестку дня пленума губ. Совета за сегодняшний (25) день:

«Продовольствие, мануфактура, финансы, фабричная жизнь. Ведь только эти вопросы и стоят в известных комбинациях. Политики, партийности никакой — одна голая экономика на-лицо. Да разве Совет приказывает? Нет. Он лишь советует более или менее категорически. А если не исполнит фабрика или завод, что он сделает? Ничего. Так разве это подлинная власть, что за ослушание ничего не делает? Нет, власть поступала бы иначе. Если Совет закрывает буржуазную печать, борется с белогвардейцами и сажает их куда следует — этакую „власть“ не отрицают и анархисты.

«Партийность сглаживается в Совете и не играет особенной роли, ибо политические вопросы встают очень редко. Чем дальше, тем меньше вообще полемики, ибо с головой захлестывает текущая работа.

«Затем мы считаем позорным бросать Совет в такую трагическую минуту. Советам и без того безмерно тяжко. Там нет людей, некому работать. Мы бежим, словно крысы с тонущего корабля. Это даже нецелесообразно, ибо рабочие массы могут учесть это, как трусость (хотя это второстепенно). Ведь выходя из советов — мы их не разрушаем? Не так ли? А не разрушать и не поддерживать одновременно — невозможно. Это сущая нелепость. Своим уходом мы его лишь ослабим, в то время, как оставаясь работать и не ослабляя его, получаем возможность повернуть всю советскую работу в свою сторону. Ибо сама жизнь помогает всемерно выполнить этот поворот».

— А не личные ли у вас, т. Ф., имеются соображения? — спросил его т. Мусатов.

Тов. Ф. вспыхнул:

— Вы меня оскорбляете... Это у меня не может и быть, ибо сейчас же, как человек интеллигентный, найду себе работу на двойную, на тройную плату... Этого нет...

Товарищи шумно заговорили и опровергли единогласно это подозрение. Хорошо, опровергли, но сам-то он, т. Ф., чувствовал, что здесь была доля истины. Во-первых — что такое «интеллигентный человек»? Вон, посмотри на них, как целыми артелями ищут себе какого-то дела. Это не резон. И итти тебе некуда, во всяком случае, на первое время— это факт несомненный. И сознайся, т. Ф., что сам об этом подумывал не раз. Мусатов попал в цель, только стыдно было тебе сознаться, ибо идейность-то от этого меркла, а идейность ведь все-таки у тебя на первом месте:

Как! проработав долгие месяцы в Совете — теперь его бросить? Это в такую-то трагическую минуту? Да разве это мыслимо? И тем более, что мне придется работать в отделе просвещения? Да тут — какая же власть? Какое же тут насилие? Вопрос остался при старом решении. Все остаемся работать в Совете. Но расхождение глубочайшее. Прежнего единения в группе, как не было. Его больше и не будет. Теперь уже имеются определенные лагери, а между ними — война.

27—III

Что делать анархисту в Совете

Мало ли дела теперь в Совете. Только замороченные голой теорией могут сказать, что власть советскую надо игнорировать, советы оставить, а потом... А потом — остаться, видимо, по отношению к Совету в состоянии полной лойяльности. Положение абсурдное. Советы можно или поддерживать, или свергать всемерно — тут «лойяльности» не может быть в смысле равнодушия, безразличия и проч.

Мы, анархисты местной федерации, по этому вопросу раскололись. Я стою за советскую работу. Философствовать не буду, приведу факты, утверждающие мою мысль. Оставаясь в Совете, я имею возможность проводить в жизнь принцип децентрализации, а не ограничиваться только его признанием. Мое место товарища председателя в губернском Совете позволяет мне направлять советскую работу по определенному руслу. До сих пор губсовдеп жил и живет единственно на %%, собираемые с отправляемой мануфактуры. Сначала собирали 2%, а затем 3 и теперь 4%. До последних дней губ. Совет уступал уездным советам всего лишь ½%. Мне удалось настоять на том, чтобы губ. Совет получал только 2½%, уездный 1% и местный ½%. Видя, что вся работа совершается на местах, что по недостатку средств работа там часто хромает, я гну определенную линию децентрализма и утверждения советских организаций на местах. Теперь, оперившись, они окрепнут, разгрузят нас и более плодотворно используют, быть-может, немногие, а, может-быть, и многие, еще дни нашей советской работы.

До сих пор, кажется, отправка мануфактуры и сбор %% проходили через мануфактурный отдел нашего Совета.

Теперь удалось провести иной принцип: отпускают фабричные комитеты с ведома и разрешения местного совета. Деньги поступают на текущий счет этого Совета, затем уездного и, наконец, нашего. Этим, во-первых, расширяется самодеятельность и круг компетенции советских организа-

ций на местах; во-вторых, облегчается наша губернская работа.

На днях пришло нам 30 миллионов. 19 из них было роздано, 11 оставлено не текущие расходы на счетах и мануфактурного и продовольственного отделов. Ясное дело, что резерв у нас должен быть всегда наготове, но посудите сами, что хранить такой резерв, когда некоторые фабрики, например по шуйскому уезду, не получали в течение 3½ месяцев, хранить такой резерв является преступлением. Приехали шуйцы. Фабрики у них стали. Централисты были все-таки против того, чтобы трогать этот «неприкосновенный капитал». К нему все-таки «прикоснулись», и Шуе выдали 1½ миллиона. Прошло мое предложение. Так, оставаясь в Совете, я вижу, что дело удается вести по определенному уклону, именно в сторону наибольшей децентрализации. Для меня положение ясно:

На местах начинают понимать, что «губернаторы» им плохие помощники, что работать надо, главным образом, самим. С этими мыслями являются сюда, и я их утверждаю в подобном правильном соображении.

Я стараюсь всемерно и ежечасно ходокам с мест (а где же их больше, чем здесь?) вбивать эту основную мысль о необходимости творить как можно больше на местах, руководствуясь единственно принципом целесообразности, и извещать нас post factum о совершенном, чтобы у нас были возможности оперировать со свежими фактами и по возможности координировать работу мест. Скажу с гордостью, что много ушло от меня народу с определенной решимостью, приехав на места удесятерить там свою работу, привлечь к ней всех, кого только возможно, и проявить максимум самодеятельности. В Совете работать необходимо. Вы скажете, что он — власть, что анархисту в нем не место. Очень может быть, что отдельные проявления его смежаются с проявлениями власти; наша задача — эту власть обратить в способность к координации. Ведь наша роль, как губернского центра, должна сводиться именно к координации волевых проявлений с мест; к учету этих фактов, выводам из них и советованием местам наиболее целесообразно затрачивать свои силы, сообразуясь с нашими выводами. Мы не власть приказывающая, а центр координирующий. Во всяком

случае мы им должны быть. Необходимость существования координирующих жизненно-необходимых центров признается и анархистами. А Советы — органы, во-первых, жизненно-необходимые, во-вторых, исключительно трудовые, не парламентские. Если большевики извратили идею советов и превратили их местами в арену политических схваток — в этом не наша вина. Мы не могли бы участвовать в тех властных органах, где были бы представители враждебного лагеря, мы не могли стоять у власти буржуазии, а в советах, организациях классовых и исключительно трудовых, по идее беспартийных и по заданиям хозяйственно-экономических по-преимуществу (во всяком случае теперь, когда из центров оппозиции они превратились в творческие органы) — в этих организациях мы должны остаться и работать не покладая рук над проведением и утверждением в жизни того, что уже назрело на местах — идея децентрализации. Мы эту идею всего лучше можем проводить именно через советы, ибо советы до сих пор сохранили свой огромный, вполне заслуженный авторитет среди трудящегося люда. Критиковать со стороны и умывать руки, когда советы в смертельной опасности, разумеется, легче, нежели оставаться в них и работать. Но мы ведь ценим труд не по легкости, а по тяжести. И, отбросив голую анархистскую теорию, мы анархисты-практики, не только чтущие идею, но и стремящиеся провести ее в жизнь — мы останемся в эти трагические минуты на своих постах, будем исправлять кривую, по которой идут политические партии, и прилагать максимальные усилия к тому, чтобы наши идеи утвердились одновременно в умах и делах

2—IV

Анархисты и власть

Тов. Черняков уверял, что анархисты-синдикалисты против работы в советах и работу эту всюду оставили. Просмотрел я на днях старые №№ «Голоса Труда» и встретил там нечто иное. Говорилось это иное не до Октябрьского переворота, а позже — в январе-феврале. Там говорится

о допустимости и необходимости работы в советах при известных условиях.

В № 22:

«Мы должны теперь вести борьбу против советов не как формы вообще, а против существующей ныне властной советской формы... Не возбраняется, конечно, в отдельных случаях вести эту борьбу и внутри советов...» (Лапоть).

В № 34:

«Считаем (считая) работу в советах, на-ряду с работой в других формах объединения труда, важной задачей для нас, анархистов-синдикалистов, признаем (признавая) поэтому и участие в Исп. органах советов на местах...».

В этом последнем номере по отношению к советской работе высказываются те же соображения, что пришлось мне высказывать неоднократно в кругу товарищей.

Группа 9-тью при 3-х воздержавшихся признала необходимость остаться работать в советах. С приходом т. Чернякова несомненно стало оживленнее, но несомненно стало много пустейшей, вредной болтовни.

В группе имеются ура-анархисты: Беги, хватай, забирай, отнимай... Просто любители острых ощущений. А один так и определенный трус. Он все рекомендовал занять «особняк» (это слово ему особенно нравилось). Но я уверен, что сам он занимать «особняк» не пойдет — крикун и пустомеля. Говорили и о захвате имения, и про эксы, но как-то некому всем этим заняться — дела остаются без движения. В советах остаемся, но линию поведения выпрямляем до крайности: напрягаемся всемерно, чтобы превратить советы в организации координирующие, не больше. Власть поистине чудовищная штука. Испытываю их влияние даже на себе. «Делегаты», действительно, оставаясь подолгу на своем посту, начинают чувствовать себя божками; ничегонеделание принимают за естественное состояние; почтением, вниманием и проч. знаками неравенства страшно избаловываются, становятся раздражительными, обидчивыми, мелочно-гадкими.

«В центре» сплошь и рядом «вольные заседания» — случайные, от нечего делать. Разговор идет о пустяках. Рабочие про это не знают. Чем выше центр, тем меньше у него

работы, ибо там всегда имеется тенденция передавать все дела в комиссии, подкомиссии, нижестоящие центрики вообще. Депутат, раз прилепившись к месту (обыкновенно довольно теплому), оставляет его неохотно; он обеспечен, не избалован работой, обленивается, делается вялым, а часто и трусливым.

В группе нет прежнего единения. На-лицо глухой ропот, недоверие, назревающий конфликт. Тов. Ф., избалованный постоянным вниманием и председательским постом, начинает нервничать при каждом противоречии, особенно товарища Ч. Ф. привык, чтобы его предложения принимались, мысли считались правильными; а тут вдруг — противоречие. В одном из последних заседаний настолько закипело внутри у него, что хотел бросить все, уйти и увести за собою сочувствующих товарищей. Сдержался, не ушел, но разрыв очень и очень возможен. Последние заседания проходят без председателя — запись ораторов ведет секретарь. Получается порядочный беспорядок. Не привыкли еще мы. По старой памяти обращаются к т. Ф., и он, надо сказать, по возможности урезает бесплодные и бесконечные прения.

18—IV

Анархисты

Все она же — старая, знакомая тема. Она измучила, истерзала в конец:

Оставаться анархисту в Совете или нет? Работать с лучшими из рабочих, или слиться с бесформенной массой, склонной отречься не только от власти, но и от любой организации вообще? Раскол, главным образом, по этому вопросу — все остальное имеет второстепенный, привходящий характер.

На повестку дня я поставил девять вопросов. Среди них был, между прочим, и вопрос о захвате Скорынинского дома. По этому вопросу прения были весьма интересны и весьма же продолжительны — более двух часов.

Чтобы начать практически проводить свои идеи в жизнь, утверждал я, необходимо, во-первых, товарищем быть

достаточно убежденным и действовать не только под наплывом чувств. Ура-анархизм, к сожалению, в нашей революции преобладает над учением, строго, продуманно, последовательно проводимым в жизнь.

Во-вторых, начиная большие дела, необходимо иметь под ногами твердую почву, надо опираться на рабочую массу, которая бы нас знала, которая бы нам сочувствовала, которая поднялась бы за нас в нужную минуту.

Знает ли нас масса, вступится ли за нас, сочувствует ли нам настолько, чтобы мы могли опереться на нее в нужную минуту. Нет, нет и нет. Во всяком случае пока этого нет. И очень понятно почему:

Группа наша молодая, сравнительно малочисленная, агитаторских и пропагандистских сил она не имеет и заявляла о себе до сих пор по всем этим причинам недостаточно громко. Нам необходимо сначала проявить себя, заявить о себе, растолковать, что мы из себя представляем и чего добиваемся — и только после этого, заручившись сочувствием масс, начинать работу практическую с надеждою на успех и не опасаясь, что затея эта выльется в самую будничную авантюру. Это — во-вторых. А в-третьих, необходимо довести до сведения Совета о том, что мы занимаем особняк, ибо в Совете, несмотря ни на что, сидят наши товарищи.

Это не просьба, это не унижение — мы лишь доводим до сведения.

Вы удивляетесь и спрашиваете, к чему нужна эта глупая процедура, «к чему, дескать, тебе мой паспорт, когда я сам перед тобой». С внешней стороны вы совершенно правы. Но посмотрите вглубь. Как бы там ни было, но Совет представляет собою ту организацию, которая приняла на себя все функции, всю созидательную работу, сосредоточила в себе, как в фокусе, все нужды и запросы пролетарского населения. Ведь пролетарского — поймите это. Ведь не буржуазия, не соглашатели-социалисты засели в Совете — там засели наши же товарищи, те товарищи-большевики, с которыми рука об руку мы шли целую революцию.

Эта организация ведает распределением всяких благ среди рабочего люда. Вы говорите, что она дурно, неумело выполняет свои функции. Что ж, я ведь согласен с вами, но виновата ли она в этом.

Ведь не профессора сошлись в Совете — идемте туда, давайте им помогать.

«Так вот мы и помогаем, захватывая особняк», — утверждаете вы. Это, товарищи, худая помощь, говорю я вам. Ибо назавтра же группа хулиганов человек в 15 — 20 захватит бурылинский дом, выгонит Бурылина, а все добро оставит себе. С точки зрения анархистов-пистолетников это будет, разумеется, правильно, но мы ведь не совершаем 3 рублевых экспроприаций у рабочих в свою пользу, как то делают пистолетники, мы ведь держимся с вами иного плана, иной тактики. Вы вот еще отказались от мягкой мебели и приказали заменить ее другою, более простой и удобной, а кучка хулиганов ведь не будет проделывать эти ненужные операции, она ведь не только мягкую мебель — она захватит и ложки, и чашки, и всякую посуду.

А потом у одного окажется 15, у другого 20 тысяч наличными, как это было в Москве.

Ведь это уж не сказка, не выдумка, что в Москве под черное знамя пробралось море всякой нечисти — воров, громил, хулиганов и прочей гадости. Да и у вас, при обсуждении вопроса о захвате дома, разве у вас не разгорелись глаза и зубы. Разве об этом неясно говорится в протоколе: одному хочется перебраться на спокойное житье; другой говорит, что корову следует оставить, ибо «найдется, кому пользоваться».

Тут был на-лицо личный, низменный, корыстный элемент.

Одним этим вы уже исказили, испохабили свою идею, свой верный план. Под этими желаньями я не подпишусь.

Так, что вы скажете той группе хулиганов, которая захватит бурылинский дом и назовет себя, положим, анархо-индивидуалистами, или чем хотите. Положение самое нелепое: мы создаем прецедент для хулиганства.

Нет, сначала давайте составим кадр честных, надежных работников; сначала встанем тверже на ноги, а тогда и за большую, за верную работу.

Совет — организация, которая держится авторитетом и верою масс. Если этот авторитет будет поколеблен — знайте, что положение используется не нами, а нашим врагом — буржуазией.

По этим трем соображениям:

1) что мы недостаточно уяснили себе учение анархо-синдикализма,

2) что мы не имеем достаточно широкой и твердой базы,

3) что в Совете сидят наши друзья, а не враги — я считаю необходимым, для поддержания и утверждения советского авторитета, дать туда сообщение о том, что мы особняк занимаем для собственных нужд, для нужд группы.

Я знаю, что Совет санкционирует эту весть по-товарищески. «А ежели нет» — спрашиваете вы. А тогда другой вопрос. Тогда у нас будут козыри в руках, тогда мы сможем заявить рабочим, что Совет оставляет дома буржуям и не дает их занимать тем группам, которые борются за рабочих.

Этим козырем мы несомненно побьем советскую карту и побьем через протесты самих рабочих, а не ружейными залпами. Мы не смиренники, непротивленцы, мы будем первыми стрелять в наших классовых врагов, но мы никогда не будем плодить себе врагов в среде пролетариата, в среде своих же братьев, ибо на эту удочку, пожалуй, попадется и вся наша трудовая революция.

Совершается какая-то огромная провокация; закинута умелою рукою тонкая, хитро-сплетенная сеть. В эту сеть ловят одновременно большевиков и анархистов, ловят всю социальную революцию. Надо быть максимально осторожным. Буржуазия заходит с заднего хода. Она разбита в открытом бою и решила обойти нас в тыл. Нет никакого сомнения, что кадры черной гвардии вербовались не без ее участия. Вот положение.

Ты, Александр (Черняков), утверждаешь, что морально мы несомненно правы и имеем за собою основание утверждать, что и фактически мы будем достаточно сильны. Откуда у тебя эти иллюзии. О моральной стороне не будем говорить, против этого никто не говорит, а вот, что касается проведения — это для меня значит вот что: в субботу, когда особняк будет освобожден, лягут костьми несколько человек красных и черных гвардейцев, т.-е. несколько пролетариев-рабочих. Что бы там ни происходило наверху, давайте здесь хранить максимальное единение, давайте хранить рабочее дело, а не свою партийную мантию. Пусть она

несколько позапачкается, эта пурпурная мантия, пусть, нам бы только сохранить и довести до конца рабочую победу.

Ведь если логически рассуждать и московские события перекинуть на периферию — ведь революция сгибла.

Неужели это для вас не ясно. Анархисты живут по всей России, и по всей России поднялась бы эта резня. Что будет тогда. Ведь свои своих начинают губить.

К горю нашему в Воронеже и некоторых других местах повторяются в миниатюре московские события. Давайте же хоть здесь у себя держать это единение до последней границы. Он, Черняков, говорил, разумеется, о власти, что Совет тут виноват больше нежели мы, что он нас всех знает и в честности нашей сомневаться не имеет никаких оснований... И все эти соображения бледнеют перед возможностью раздора среди рабочих.

Проголосовали. Мы, пять человек, высказались за извещение Совета; двое воздержались, 12 человек против.

Таким образом вопрос разрешен в отрицательном для нас смысле. Я глубоко взволнован, возмущен и озадачен. Дальнейшая работа в группе, повидимому, невозможна. Разумеется, не из-за этого случая — он лишь один из многих, но вот эти-то многие мне и не дают покою. Прежде приходил я в группу с радостью. Тогда не было оппонентов, тогда все шло мерно и время использовалось продуктивно.

Читали, беседовали, спорили — все это было, но было и огромное единение. Мы были, поистине, как братья. Дисциплина была строгая, истинно-товарищеская. Правда, было трудно, ибо кроме меня некому даже было вести собрание, но дух товарищества, политическое воспитание, утверждение в своих убеждениях—все это несомненно было на-лицо. Приехал Александр, человек несомненной честности; предан делу до глубины души; любит подсыпаться под психологию темного человека каламбурами и плосковатыми остротами, легкими и дешевыми, любит погеройствовать и разжечь страсти; сам он боевик по натуре; душа и мысль просит живого действия, а я чувствую в себе более именно синдикального элемента.

Анархо-синдикализм мы с ним как бы поделили пополам: он взял «анархо», а я «синдикализм». Вот почему он

и против Совета и за немедленный захват домов. И выходит, что двум петухам в одном курятнике не жить.

Ставя на первом месте работу среди рабочих и для рабочих, я, разумеется, групповые занятия ставлю позади советской работы.

Об этом сообщил и группе. И вот сегодня т. Мусатов сообщил мне, что некоторые члены за это именно ко мне и «охладели», перестали по-старому уважать и считаться со мною. Это сообщение полоснуло меня прямо по сердцу. Дальше ждать не было терпения. Я чувствовал, что мои друзья, с которыми работал всю революцию, что они уходят, ушли от меня. Это тяжело до боли. Я уж не помню по какому поводу и после чего случилось все, что случилось: я вскочил, схватил стул, ударил его с силою о пол, разбил на части и, схватившись за голову, выбежал из комнаты. Все повставали, засуетились, зашумели. Через две минуты я вернулся. Старался взять спокойный тон, сообщил даже о своей поездке в Москву, но все уже было потеряно: я заявил о своем уходе из группы.

— Я имею все моральные основания, — кричал я в крайнем исступлении, — все основания к тому, чтобы деньги оставить у того меньшинства, которое останется со мной. — К чему была эта подлость и глупость. Я понял, что сказал то, чего совершенно не следовало говорить, что это, быть-может, поняли так, что я деньги хочу оставить себе — я понял, что сказал отвратительную непоправимую штуку и загрязненными сапогами полез на самую середку глубокой лужи... Я кричал, бранился и ругал напропалую.

— Идемте, возьмите у меня эти деньги, эти проклятые тысячи... Снимите с меня эти кандалы, — кричал я через две минуты. Был в уме какой-то хаос; в сердце смятение, отчаяние, боль, сожаление и злоба — бесконечная, жгучая злоба, а злобу разжигал стыд и неловкость за мальчишество, за болтовню, за ребяческие поступки. Потом я пытался брать спокойный тон, но его хватало только на три слова. Решили закрыть собрание и собраться в воскресенье в 12 часов исключительно по этому вопросу: работать вместе или разойтись.

Я, признаться, стою в раздумьи. Группа гибнет. Может-быть, она по-своему и цветет, но в известном смысле она

несомненно погибает. Начинают притекать новые члены — незнакомые, чужие люди. Строгость подбора начинает ослабевать. Еще нет жестоких ошибок, еще не проползла гадкая нечисть, но чувствую, вижу я, что жадные ее взоры устремлены на нашу группу, что скоро она пожалует к нам.

А прежняя строгость, товарищеская дисциплина — все это несомненно ослабело; все мы как-то распустились, многие поняли до безумия по-ребячески идею безвластия. Дело рассыпается. Оно еще не рассыпалось, но на пути к тому. И мне тяжело присутствовать при этом падении, при развале той храмины, которая строилась при моем ближайшем участии. Сколько тут было положено труда; сколько тут было затрачено усилий. Наконец, она создалась. И вот теперь начинает рассыпаться. И кто эти «боевики»? Настя, известная своей взбалмашностью; Усманов, известный своим легкомыслием, болтливостью и заячьей трусостью; Шабалин, честный, безмерно увлекающийся и сохранивший самое живое воспоминание об «эксах» прошлой революции. Потом публика «последнего набора». Может-быть, нас будет и меньшинство, пусть, не беда. Но мне хочется снова утвердить строгую товарищескую дисциплину; по-старому «через уголь» пропускать новых членов. Уйти, но вот в чем ведь дело (обстоятельство случайное). Я уезжаю и почти на целый месяц в Екатеринодар. Что мои сотоварищи будут делать без меня, уйдя от Александра, который, несомненно, без меня будет вести все дело. Я их оставлю на мели. У них не будет руководителя, а им — неопытным, мало-развитым, с трудом разбирающимся в сложной действительности, им этот товарищ руководитель нужен, ибо в противном случае будет или понапрасну теряться время в ненужных разговорах (чему тысяча примеров) или же собраний и вовсе не будет. Вот положение. Нужен выход.

По всей видимости, на время придется сохранить единение и сохранить его исключительно для товарищей. Мне неизбежно придется уехать. Они одни останутся без руля и без ветрил. И несколько опешат, увидя, что я их увел за собою, а сам уехал. Является вопрос: а не лучше ли будет им совсем не работать, нежели работать под руководством (а оно, несомненно, всегда на-лицо, даже в самой архи-анархической организации) Александра?

Их судьба в моих руках — этих немногих, дорогих сердцу товарищей. Обдумывая и передумывая, ради них, сохраняю временное единение и остаюсь в группе, но по приезде поведу отчаянную кампанию против ура-анархизма, что начинает побеждать истинный анархизм.

23—IV

Анархисты

Вот и хорошо, что пришлось обождать с решением: теперь я на вопрос уже смотрю иначе и остаюсь в группе не только потому, что необходимо, как временная мера, а потому, что нам необходимо единение вообще. Наша группа небольшая, всего человек 30. Если расколемся, распылим силы, и работа «для идеи» пойдет тихо. Мы успокоим, правда, личные похоти и перестанем петушиться, но дело, живое и нужное дело много потеряет в результате этой операции. В сущности — что заставляет нас разойтись. Разномыслие по некоторым вопросам.

А разве может быть, говоря вообще, единомыслие по какому-либо, даже крошечному вопросу.

Нет, не может. И, логически рассуждая, мы должны будем разойтись, работать в одиночку. Мы от этого, быть-может, и выиграем, но дело, несомненно, проиграет.

Были у меня, правда, и другие соображения, сильные соображения, хотя бы относительно товарищеской дисциплины, но, скажу откровенно, я сгустил тона: эта строгость живет до сих пор, и ни один член еще не принят «с кондачка».

Вчера даже был такой случай: Один из лучших товарищей, т. Мусатов, заявил, что предшествующей ночью, нетрезвый он попался на обход. Его записали, отобрали некоторого содержания бумагу, выданную группой (осмотреть особняк Скорынина), отобрали и револьвер. Долго мы обсуждали этот вопрос, много высказывали соображений, но никто не высказался против товарищеского наказания — все понимали, что без последствий оставить этого дела нельзя.

Эти разговоры не были лицемерными кривотолками о сучке в глазе брата, когда в своем глазу целое бревно — это была истинная, неподдельная жажда во что бы то ни стало спасти, оградить честь и репутацию группы.

Могли разойтись только в мерах наказания. Порешили на том, что на месяц он исключается из членов группы, о чем осведомляем через печать. Винтовка, граната — это все остается, ибо доверие к нему, как надежному товарищу, отнюдь не поколеблено происшедшим фактом. Призвали, по-товарищески объяснили — он понял, разумеется, нас как и надо понять, принял и даже одобрил наше решение, как ни горько попадать в печать с подобною аттестацией. Так пришлось мне вчера убедиться, что дисциплина товарищеская у нас еще жива, что сами мы, все вкупе, стоим на страже интересов общего дела.

В воскресенье было собрание, вчера другое — два подряд.

Первое — в Совете, второе — в новом нашем помещении в доме Скорынина. От минувшего четверга до воскресенья некоторые товарищи, повидимому, одумались, размыслили и просто остереглись даже создавать раскол в группе. Когда вопрос дебатировался вновь после, разумеется, предварительного собеседования, — результат получился иной:

За мое предложение—известить Совет—голосовало 14, против, кажется, 5 (или 6).

Приняли в такой редакции:

«Иваново-Вознесенская группа анархо-синдикалистов доводит до сведения Совета, что ею занят дом Скорынина для помещения там комитета группы и редакции.

Ответственные члены группы: Фурманов.
Сидоров.
Пузанов».

Подано заявление было на имя Совета, а рассмотрено было даже не Исполнительным комитетом, а президиумом.

На следующий же день, т.-е. вчера, нам прислали бумагу приблизительно такого содержания:

«Исполнительный комитет заявляет о том, чтобы дом не занимался, а ежели занят — через два дня, чтобы был очищен».

Смысл именно таков. По этому поводу было у нас вчера долгое суждение.

Порешили на следующем:

«Решение президиума — еще не решение Совета и, может-быть, даже сам Исполнительный комитет перерешит это постановление. Если же нет — мы подымаем вопрос на советском заседании. Мы остаемся в захваченном доме. Пусть приходят и прогоняют — мы сопротивляться, отстреливаться не будем. Но мы вопрос поставим на обсуждение всего Совета и думаем, что он решит по-иному».

Придется, может-быть, вообще поставить вопрос о доверии Совета к группе — Совета, а не партии большевиков.

Потом разбирался вопрос о дальнейшей работе группы и распределения этой работы среди членов. Александру поручено составить примерную программу в ближайшем будущем. Здесь, в огромном доме, если только удержимся, необходимо создать клуб анархистов. А там потребуется и библиотека. По этому вопросу также было не мало высказано сомнений и положительных соображений.

Взять библиотеку можно у Александра Горелина, библиотека прекрасная.

На его же лошадях и перевезем — со всем, со шкапами и проч.

Но, ведь, нужен библиотекарь, а на большую, хорошую — так еще и хороший библиотекарь. Найдем человека или нет.

Затем необходимо для хорошей библиотеки ставить карточную систему, нужен картон (бристоль), а, следовательно, и деньги.

Дальше: взяв мало, не потерять бы много. Может-быть, мы, взяв библиотеку у Горелина, перепугаем всю остальную буржуазную свору, и она припрячет все книги.

Ну, человека, положим, и найдем — сами займемся, я некоторым товарищам помогу освоиться, ибо сам знаю, и дело пойдет.

По второму вопросу — думаем, что придется пока жить паллиативами: собирать на лекциях, от продажи литературы, от добровольных жертв самих рабочих.

Но все это, несомненно, паллиативы. Дальше — книги ежели и спрячут, то спрячут, увезут не в Африку — у нас же останется.

А вот вопрос о средствах, действительно, острейший вопрос.

Мы неизбежно, толкаемые жизнью, идем на единовременный акт экспроприации.

Жизнь у нас закипела.

Сил, повидимому, тоже хватит — во всяком случае, на первые шаги. Только имеется у меня опасение: не зашиться бы: оборудование дома, типографии, издание газеты, создание библиотеки — на все это нужны большие силы, а таких-то больших у нас не найдется. На первые шаги — да. Но, а потом.

Смелость, смелость и смелость...

Все это хорошо. Но приходится еще и на аршин в землю смотреть.

26—IV

Лекторская смелость

Смелость нужна во всем, даже в лекторском деле.

Приехал из Москвы; на следующий же день сделал доклад-лекцию о московских расстрелах; через два дня повторил. Народу оба раза была масса, и успех был полный.

Теперь взялся и приготовил другую: «Парижская коммуна и Советская Россия». Материала много, а главный взят из Лиссагарэ и Артура Арну. Материал вчерне, а начисто я его отделываю уже в процессе импровизации. И нельзя сказать, чтобы выходило неудачно. Я за собою слежу строго и могу ценить беспристрастно. Смелость нужна во всем. Она помогает и мне развернуть возможно широко потаенные силы. А они есть, я это чувствую.

Анархисты и Совет

Нам в помещении отказали. Это звучит нелепо: отказали анархистам. Я сам больше склонен бороться в Совете, нежели против Совета и потому реагирую на этот факт недостаточно остро, жду, когда приедет Александр.

Он, несомненно, что-то будет делать, а мне и браться неудобно, ибо завтра уезжаю недели на две — на три. Заварить кашу — не штука, а расхлебывать ее придется товарищам.

Здание опечатано, поставлена стража. От кого, что они оберегают. Скороходов на пленуме говорил о том, что Скорынина «дрожала, волновалась», когда передавала Совету о захвате дома. На этом я сыграл и жалость к буржуям выставил в жестоком виде. При голосовании я сделал громадное опущение: не настоял на закрытом голосовании.

Разумеется, многие открыто не заявили о своем неодобрении Исполнительного комитета по нашему делу, но, несомненно, в душах многих я заронил сомнение в правильности действий Исполнительного комитета: 25 человек воздержалось. Это большое дело. Я думаю, что они при закрытом голосовании решили бы дело в нашу пользу, а с ними и многие другие.

Теперь дальнейший путь мне представлялся бы следующим образом: в особняк, все-таки, итти. Нас оттуда выгонят — пусть, мы не будем сопротивляться. Но рабочие будут знать, что нас выгоняют из дома буржуя. Мы находим другой, и з в е щ а е м Исполнительный комитет о том, что хотим его освободить для себя и смотрим, что будет. Я уверен, что Исполнительный комитет этот новый особняк для нас найдет. Если же нет, то у нас будет новый козырь за то, чтобы этот особняк находить самим. Вам тут чудится унижение, капитуляция, компромисс... Да, со своей точки зрения вы правы, ибо считаете Совет вражьей организацией. К врагам итти на поклон, несомненно, компромисс, несомненно, капитуляция и унижение. Но в том вот и разница, что Совет, не взирая ни на что, я до сих пор да и впредь буду считать товарищеской, дорогой для себя

организацией, оплотом революции, органом, который с некоторыми видоизменениями может стать почти совершенным (для нашего времени) органом рабочего движения. Совет заблуждается, Совет ошибается. Правда. Но значит ли это, что Совет — вражеская организация. Для меня этого вывода нет.

Все-таки должен быть этот стальной, могучий орган, который в переходное, как наше, время вынужден проявлять свою диктатуру, свою беспощадность к врагам со всех сторон. Мы, анархисты, бродим вокруг да около, а открыто не хотим признаться в том, что для наших дней централизованная защита выгоднее, нежели децентрализованная.

Большевики этот орган называют властью, мы его назовем организацией защиты. Но не в словах дело. Смысл, ведь, остается один и тот же.

Я все больше и больше убеждаюсь, что, проповедуя идеал анархии и претворяя его, где возможно, в жизнь — отнюдь не годится во имя этого идеала кидаться на стену, отказаться от централизованной защиты и тем самым загубить дело. Я об этом еще не заявляю во всеуслышание, но переворот (да и переворот ли? Не было ли этого убеждения и все время?), несомненно, имеется. Может-быть, это будет новое течение в анархизме, но это течение наиболее жизненно, оно ответит нуждам рабочих.

1—V

Анархисты

Я никуда не уехал, остался в группе, и на последнюю мою лекцию, что читал у Горелина в столовой 27-го («Парижская коммуна и Советская Россия») — на эту лекцию приехал и Александр. Между прочим, скажу, что про обе мои последние лекции, как и про недавнюю лекцию Александра, кто-то самым упорным образом распространял слух: лектор арестован (Фурманов арестован, Черняков арестован). Кому это было нужно? А, ведь, кто-то определенно пытался лекции сорвать. И до известной степени это

удалось. За все эти разы было человек по 300, тогда как прежде и не бывало ниже 500 человек.

Меня встретили наши анархисты со слезами радости на глазах почти перед самой лекцией: «Так вы не арестованы?».

Я изумился, потом все разъяснилось, но было уже поздно: по фабрикам этот слух прошел широко, и позже об этом мне сообщали из разных мест.

Итак, приехал Александр.

На следующий за лекцией день у нас было собрание группы. Разбирали, между прочим, вопрос о здании. Как быть? Спорили мы довольно долго и, в конце концов, примирились на следующем: президиум, затем Исполнительный комитет, а позже и Совет — постановили дом Скорынина взять «под лазарет».

Это «под лазарет» было уморительно: они путались дня 3—4, прежде, чем вскрыли его, а вскрыв — пустили туда несколько беженцев. Но так или иначе — Совет одобрил поведение Исполнительного комитета.

Что остается нам делать?

Итти и во что бы то ни стало брать здание?

Лезть на стену, стрелять?

Нет — это безрассудно, это вредно для общего дела.

Может-быть, поднять вопрос снова на советском заседании.

Это бесполезно и неудобно: что скажешь нового.

Махнуть рукой. Нет, не годится, надо что-то делать. Так что же нам делать, когда наша группа всего лишь в 15—20 человек.

Я сделал следующее предложение, оно было принято:

Выбираем комиссию в 3 человека. Поручаем ей найти новое помещение. Найдя, доводим до сведения Исполнительного комитета. Если скажут, что оно занято или предназначено под что-либо иное (больница, приют и т. д.)— отказываемся, уходим.

Так же уходим и от второго, третьего, десятого, если они предназначены для иных целей. Наконец, останавливаемся на свободном помещении, о чем извещаем Исполнительный комитет.

Тут недоразумений уж никаких не может быть (да их и не было бы, если б только я находился в ту пору здесь, если б только я разъяснил им во-время ту мысль, что Советская организация — наша дружеская организация, что дело делать с нею следует по-товарищески, что тут нечего сразу «оставлять за собою свободу действий» и дело можно бы было устроить в 3 минуты. Эту мысль я развил им подробно и в результате убедил Но было уже поздно. Теперь эта мысль доминирует). Комиссия наша работает и дом как будто уж облюбовала.

Дальше толковали о том, что приходящие газеты залеживаются, их никто не берет, не распространяет.

Поручено было троим ежедневно справляться на железной дороге и в почтовом отделении. Первым же вопросом разбирался вопрос о Первом Мая. Разумеется, мы идем с рабочими. Приготовлено три плаката с лозунгами:

1) Анархия — мать порядка.

2) Дух разрушающий — есть созидающий дух.

3) Ни бога ни хозяина.

Первый плакат написан чудесно нашим же товарищем-анархистом Грачевым.

Мне поручили написать и выпустить листовку: «На Первое Мая». Сделано: листовка готова в количестве 1 000 штук. Плохо только, что песен анархических не знаем — все некогда научиться, да и не у кого, говоря по совести, никто из нас их не знает.

Вчера вечером собрались потолковать накануне 1 Мая. Женщины уделывали и пришивали знамена, а мы все совещались — как удобнее, как продуктивнее использовать пасхальные дни. Решили с Александром поездить по району и почитать лекции. Захватываем Кинешму, Шую, Кохму, Юрьев Польский . . .

В каждом месте лекции по две. В четверг же отправляются «разведчики» — узнать о помещении, объявить, сдать кому следует билеты и т. д. Соберемся в субботу вечером накануне Пасхи, и окончательно все разрешим. Немедленно командируется т. Яманов в Москву за литературой — тысячи на полторы, ибо за этот месяц продано почти на 800 рублей.

В Совете

Я еще остался на советской работе, сняв с себя звание члена Губернского исполнительного комитета, остался в качестве приглашенного, членом коллегии по просвещению. Но чувствую все бо́льшую и бо́льшую тяжесть. Как-то потерялись глубокие коренные связи с Советом. Я тут стал чужим работником и только, а не своим человеком, которого касается, которого тревожит всякая мелочь. Я чужой. И хочется мне вернуть старое, но уже нет возможности. Все чаще и чаще приходит мысль об окончательной разлуке. Оставить все, уйти, уехать... Разумеется, уехать можно, но страшно тяжело расставаться с рабочими: к ним я привык, с ними я сжился. Теперь уж и не работаю — влачу существование. Тошно, скорбно, зло на этих вожаков, что обманули членов съезда (оставшись со своей точкой зрения вполне правыми). Как повернется дело — сказать трудно, но едва ли оно будет оставаться в таком положении.

С Советом порываются последние связи. Вероятно, придется уйти. Что пересилит — не знаю, но уход бесконечно тяжел.

1 Мая

Ничего особенного. Все прошло средним ходом. Была бутафория: роскошные знамена, выписанные артисты. Это все, разумеется, не худо, но пролетарская целомудренность праздника как-то нарушалась, гадилась этими ненужными, дрянненькими рассказами про пьяного купца, про птичью свадьбу и проч. Хорошо еще, что не все дребедень была.

«Утес», «Каменщик» и две-три другие вещи скрасили мещанскую пошлость во впечатлении, оставленном разным хламом.

Я забежал вперед и говорю о вечере, о торжественном праздновании 1 Мая.

Но уж если начал — кончу.

Прослушав первую половину я ушел из театра и не слышал торжественных речей. Ушел без цели, куда глаза глядят, смутно имея в мыслях Рабочий клуб. Туда и попал. В театре что-то было невмоготу. Хотелось выступить, сказать, поведать что-то жаркое, задушевное... И в то же время не хотелось, лень была смертная. Общественные вы-

ступления утомляют. Справился у Александра: будешь ли говорить.

— Зубы, — говорит, — болят.

А вижу, что выступить ему хочется. Я, было, согласился его заменить, но потом отдумал и, сговорившись с ним — ушел из театра. А часть, и большая часть рабочих ждала моего выступления — об этом уж знаю наверное. Ждали они еще и у Совета, но у Совета речь моя была сорвана самым предательским образом.

Только-что начал говорить — как ударил марш.

Приходилось сильно напрягаться. Речь была сорвана. Я озлился, но затаил злобу, бессильную свою злобу в груди — и никому не говорю. Зло и обидно.

В театре выступать еще не хотелось и потому, что выступал Александр. Мы вместе как-то не выступаем, обычно управляется один.

В Рабочем клубе пробыл всего несколько минут.

Артисты как-раз кончили. Можно было говорить и даже пригласили, но не хотелось, была смертельная лень. Вышел вон, побрел, было, снова в театр, но повернул в сторону и зашел к Тане, где в самой безобидной болтовне провел целых три часа. Так печально, нудно закончил я великий день.

Мы шли под черными знаменами:

«Ни бога ни хозяина».

«Дух разрушающий — есть созидающий дух».

«Анархия — мать порядка».

«Угнетенные, мы вместе с вами против угнетателей».

Это наши лозунги.

Наши черные знамена резко выдавались среди целого моря красных знамен. От наших лозунгов некоторые шарахались в сторону. Мы пели «Черное знамя», спевшись только сегодня утром, в течение 5 — 6 раз. Затем снялись. Над головами реяли те же черные знамена, звали и будили мысль те же горячие лозунги . . .

Что-то в этот день творилось по всему миру. Мы ждем вестей с глубоким замиранием и верим . . . Верим во всемирное восстание, но эта вера чем далее, тем более принимает характер мученической идеи. И в душу падает сомнение. И сомневаемся, и верим.

7—VI

Анархисты

Этот негодяй (а я его считаю именно негодяем) Яманов считает себя, видимо, почти хозяином тех сумм, которые были им доставлены группой. На вчерашнем заседании была опасность, что его проведут в коллегию. Он тут последнее время все вертится в комитете и пытается заявить себя деятельным членом, но мы его тактику хорошо понимаем и предостерегаем товарищей, елико возможно.

На заседании 6 июня в коллегию избраны:

Муравчиков, Шабалин, Иван Черняков, Шатунов, Фурманов. Кроме Шабалина все были на-лицо. Заседание коллегии состоялось. Яманов, видимо, злился, что не попал сюда. Обсуждались вопросы о хранении оружия, многих тысяч денег, относительно париков, плана нападения и обороны. Неужели из нас кто-нибудь ненадежен.

Не допускаю подобной мысли. Только молчаливость, вкрадчивость, осторожность, да какая-то затаенность Павла Ивановича иногда смущает. Хранить деньги он отказался.

Записывать все, что происходит в группе нет времени. Отчасти обслуживают эту сторону журналы заседаний. Они ведутся исправно. На-днях обещают приехать Гр. Лапоть и Ярчук провести два митинга об анархо-синдикализме в связи с текущим моментом.

Необходимо будет вручить и толику сущу — на этом постараюсь настоять.

Еженедельно предполагаем устраивать у себя в клубе бесплатные беседы и чтения. Начинаем с будущего воскресенья.

Дела просвещения

Признавая работу в Совете более важною, нежели работу в группе, я львиную долю времени отдаю именно Совету. А там теперь кипит работа. Уже проведено 13 — 15 лекций с инструкторами-внешкольниками. Скоро их выпускаем на работу. Да и теперь уж началась у них живая работа. Распределили между собою 12—14 рефератов и еже-

дневно делают доклады, устраивают дебаты, обсуждают; распределили между собою клубы, детские дома, кружки молодежи и проч. Собирают и там материал, делают доклады о виденном и слышанном. Сорганизовались. Избрали председателя, через которого сносятся с нами. Избрали библиотекаря, взяли на свою ответственность библиотеку. И все это по собственной инициативе, безо всяких указок. Они несомненно пойдут в ход.

Вчера, 6-го, беседою об эволюции и революции открыл я занятия на курсах для общественных работников. Приехало пока человек 25, да, ивановских столько же.

Съехавшиеся — все рабочие, публика молодая, любопытствующая, жадная до познанья. Набрали книг, углубились в занятия. Через две недели открываем учительские курсы. С ними тоже бездна хлопот. А там еще идет работа с политехникумом, рабочим университетом, учительским институтом, библиотеками, книжным складом и проч. и проч.— пожалуй до бесконечности.

А ведь работать ответственно приходится только двоим с Исидором Евстигнеевичем. Ну, он человек прямо гениальный по части всяческой организации. Мне у него есть чему поучиться. Работа нас затрепала напропалую, только успевай повертываться. В ближайшие дни как будто из Москвы будут еще товарищи, которые разделят с нами работу. Благодарная хорошая работа, только тяжело становится, невмоготу, приходится разом о десяти делах помнить и думать.

Катастрофа

Носится в воздухе дыхание смерти — нашей смерти, нашей гибели. Все против нас: международная злая сила, германские победы на Западе, голод, недомогание и расползание по всем швам.

Даже рабочие начинают во многих местах отдавать позиции.

Выносят всюду грозные резолюции.

Учащаются схватки, восстания, протесты.

Положение, одним словом, катастрофическое. И выхода нет, просвета не видно . . .

Нас должны сдавить и сокрушить — к этому ведут события. Уж кажется и выхода нет никуда...

А все-таки горит, горит в душе и не потухает, живая вера в то, что мы победим.

30—VI

Анархисты

Вчера, т.-е. 29-го у Куваева в столовой мы устроили свой митинг. Ну, и что же? Может-быть, прекрасно, удачно прошел? Может-быть, ораторы были незаурядные? Ведь из Москвы, из «центра» приехали. Может-быть, перекрестили публику? Складно, умно говорили? Да ничего подобного: митинг, как митинг. Говорили о том, о сем, а больше ни о чем. Я думал, что только мы грешные повинны в безалаберности, хаотичности и прочих благах, которые объявляются особенно ярко на митингах. Отнюдь нет. Товарищи скакали с Учредительного собрания на чехо-словаков; от них к «керенщине» и керенкам; отсюда на социальную революцию вообще, на наш Октябрь; от Октября к совнаркому, от совнаркома к совдепу... Словом, было беспорядочное изложение перед толпою (человек 400—500) всего того, что удержалось в памяти. Никакого плана, никакой системы, никакой общей мысли. Во всяком случае, меня митинг совершенно не удовлетворил. Может-быть, я и слишком требователен, но думается, что товарищи все-таки ничем не доблестнее нас, бедных провинциалов. Было скучно, было тошно, хотелось спать, зевать, уйти куда-нибудь в тишину. Несколько расшевелил т. Черняков. Как всегда живой, яркий, каламбурно-острый, бьющий больше на «революционную фразу» — он для уставшей аудитории незаменим. Митинг был назначен бесплатный. Афишировано было хорошо. И все-таки народа собралось всего 400—500 человек. Утомление огромное. Кроме того, суббота и день неудобный: кто уехал домой, в деревню, кто в баню, кто копается в огороде, словом — кто куда. На завтра, т.-е. 30-го, состоится второй митинг на тему:

«Где же контр-революция» (Первый на тему: Анархо-синдикалисты и текущий момент).

Особого многолюдия не ждем и на завтра.

После митинга зашли к Куваеву в комитет, чаевничали, спорили до глубокой ночи. В оппозиции всем был только я один, да еще большевики.

Да, я чувствую и вижу, что у них все яснее, определеннее, нежели у меня. Им как-то легко защищать свои позиции, у них больше доводов... Но правда все-таки за мной. Мне очень трудно разбираться во всем и одному; мне очень трудно потому, что со своими синдикалистами во многом расхожусь, а с большевиками сближаюсь. Но знаю одно: мое небольшое знание, мой малый опыт и чутье — ведут меня по правильной дороге.

«Долой совнарком и да здравствует федерация вольных советов». Это, как «лозунг следующего дня», провозглашали Максимов и Ярчук. Но сказать — одно, а «сделать не одно, а два...». Они в советах уже не работают. Ярчук только «числится» членом кронштадтского совета, но фактически работы не несет. А числиться мало, надо р а б о т а т ь и знать советскую работу последних месяцев, чтобы сказать, насколько они важны, нужны и трудны. Оставлять Советы — бросать на распутьи революцию, бросать тех, с которыми все время шли плечом к плечу; оставлять теперь, когда они измучены до-нельзя и крепко зажаты в объятия империализма. Нет, что хотите, но нет — этого сделать невозможно без ущерба для самой пролетарской революции.

Правда, нас, быть-может, мало по России, и наш уход фактически не отзовется на советской работе? Но вопрос решается ведь принципиально, и этим соображением отбояриваться невозможно...

Второй митинг можно считать несостоявшимся — собралось человек 150—200. О контр-революции говорить не стали, а т. Максимов ответил на записки, что были поданы вчера. Солнечное воскресенье, все разошлись, разбрелись; не до митингов, не до смрадно-душных помещений; грудь просит свежего воздуха, все ушли в поле, на луг, в лес — кто куда. Создадим митинг, может-быть, в среду. Мне и самому стало скучно и тошно. Максимов вял и однообразен. Я не дослушал и ушел от половины. «Долой совнарком». Да, это важно — свергнуть совнарком, но это не главнейшее, это — седьмостепенное. Есть дела поважнее, — например, по-

ложительно-творческая работа в Советах. Я согласен, разумеется, с товарищами, когда они бунтуют против совнаркома за вольные советы, но я отнюдь не согласен, не понимаю их и порицаю за то, что кроме этого дела они больше ничем не занимаются. Может-быть, в советах невозможно работать? Ложь. Кто хочет действительно работать, а не паясничать со своими «собственными» идеями, принципами и положениями; кто хочет дать нечто положительное—тот, оставаясь в советах найдет себе благодарное дело. Я ушел с митинга, ибо тошно было слушать эту поистине мелко-буржуазную идеологию «объединения пощады права...». Все это чушь... Такого объединения, о котором говорили они — создать невозможно. Пощады к врагам быть не должно. Если мы даже при каждом удобном и неудобном случае будем «вырезать» буржуазию — беды большой рабочим от этого не будет; революция от этого не погибнет. Расстреливать только тогда, когда тебя уже подхватили под глотку — поздно. Надо врагов выводить из строя заблаговременно. Одна, другая ошибки не в счет — они неизбежны. Вы против продовольственной диктатуры? А я ее приветствую, если только можно вообще приветствовать крайнюю меру. Во-первых, она ускорит дело (я не верю в ваше «сожгут, зароют, не дадут»), во-вторых, деревня благодаря этому расслоится. А это великолепно, хотя бы для будущей революции. Крестьянство не должно остаться единым. Сто раз правы большевики в своих жестокостях, в своей решительности. В этом я с ними. И это совсем не противоречит и делу и учению анархизма. Надо создавать что-то новое, создавать школу анархо-реалистов.

ОТ АНАРХИЗМА К БОЛЬШЕВИЗМУ

2—VII

Снова и снова эти мучения неопределенности! Снова распутье. Снова поиски. Знакомое, тревожное, лучезарное состояние. Оно было первый раз тогда, когда стоял я на распутьи и не знал, кому отдать свое революционное сердце, кому отдать свои силы, с кем итти. Ничего не понимая, не зная учения и тактики учений, я ткнулся

к эс-эрам, ткнулся сам не знаю почему — видимо потому, что тогда еще преобладали во мне идиллические «деревенские» настроения; не выветрились еще вялость, мещанская дряблость и половинчатость. Знакомые тоже шли к эс-эрам. Ну, и я за ними. Партия рабочих, социал-демократы, страшила, отгоняла тем, что интересы идиллического порядка оставляла в тени, на первое место выдвигала науку, цифры, достоверные факты. Все это было сухо и скучно. Затем уехал в деревню. Там, случайно, совершился переворот в сторону интернационализма. Я еще колебался. Я только чутьем брал и чувствовал, что в прежнем моем патриотическом демократизме не все благополучно. Наиболее сознательные рабочие были не с нами — это наводило на размышления. Промежутки между поездками по деревням были особенно показательны и убедительны в этом именно отношении. В самом деле — попадаешь в деревню и слышишь там лишь утилитаристские взгляды, видишь единственное стремление во что бы то ни стало, а поскорее получить землю — и только. Никаких идеологических надстроек и фундаментов нет — просто нужна земля, и дальше ничего нет. Приезжаешь в город и видишь, чувствуешь, как высоко вздымается здесь волна героизма, как широко идет здесь бескорыстная, высоко идейная работа пролетариев. Это заставляло задумываться и все чаще и чаще оглядываться назад и посматривать на тех, от которых иду, с которыми связан. Мне стало их жаль, а с тем, кого жаль — невозможно геройствовать, невозможно развертывать силы во всю мочь. Мне стало их жаль, как заблудших и робких, как инвалидов. Не знаю, какие еще были у меня чувства, но однажды почувствовал, что с ними дальше быть невозможно. Надо было торопиться — отходить. Это было мучительное состояние — один, каждую секунду рискую ошибиться и впасть в какое-нибудь непоправимое противоречие; малознающий, с трудом разбирающийся в сложной действительности я решил уйти от правых эс-эров. Куда? К кому итти? Надо было итти тогда же, ни секунды не медля — к большевикам, но еще слаб был, нехватило духу одну идеологию, хотя бы и мелко-буржуазную — сменить на другую, хотя бы и пролетарскую. Доносились сюда глухие вести о каких-то «левых соц. революционерах», но кто они, о чем говорят, чему

учат — этого никто не мог сказать. Больше известно было о максималистах. Несколько товарищей, ушедших вслед и вместе со мною — также называли себя первое время «левыми эс-эрами». Потом мы окончательно назвались максималистами. Шло время. Пылало сердце революционным огнем. Хотелось что-то сделать, все большее и большее, ускорить, мчаться быстрее. А максимализм начал хромать...

Тут снова пришел мучительный момент перелома, переходный, томительный момент. Нас увлекала анархистская линия, там как будто бы было больше жизни. Анархисты клокотали, рвались вперед, были смелым, воистину революционным авангардом рабочей революции. Мы к ним. Сначала робели, колебались — читали, беседовали, мечтали... А потом приехал Черняков и ускорил дело — вся группа перешла к анархистам, не определяя себе подробнее — синдикалисты, или коммунисты, или что-нибудь еще. Анархисты—и конечно, хотя большинство и называло себя в частной беседе анархистами-синдикалистами-коммунистами. Перелом был совершен. Стало как будто легче. Но это только по видимости. На самом же деле я все чувствовал по-старому свое фальшивое двусмысленное положение «ни в тех ни в сех». Борясь все время с рабочими и за рабочих — я был в то же время оторван от них, разгорожен какою-то формальною фальшивою стеною названий, наименований, принадлежности... От этого все время было тяжко, неясно на душе.

И снова пришла эта ломка, мучительная неопределенность... Снова я на распутьи. Не хочу лукавить перед собою, не могу учить тому, чему учил, но принять новое еще не могу. Анархизм питается контр-революционными чаяниями, с одной стороны, темпераментом, с другой. Погромные статьи, что были за последние недели в «Анархии», все поведение анархистов после разгрома федерации — сплошная ставка на контр-революционное восстание. Оставаться там дальше нет никаких сил. Но куда итти? Уж такая у меня мятежная душа, что куда-то все рвется, что, прильнув к одному, живо стремится умчаться от него в поисках за более высоким, за новым. Это похвала себе, это нескромно, но это правдиво. Беспартийный... Правый эс-эр... левый эс-эр... максималист... анархист (то синдикалист, то комму-

нист). Коммунист-большевик... Где же правда? В котором же учении спасение революции? Каждый старается тянуть в свою сторону... А мне эта линия — ненавистна. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» — скажут коммунисты-большевики. «Угнетенные всех стран, объединяйтесь» — скажут анархисты. Ну, что это за желание во что бы то ни стало сказать «свое», не то, что сказал вот он, хотя бы он говорил и то же самое, совершенно то же самое, только другими словами? Может-быть, тут «нюансы», оттенки имеются?.. Может-быть, только ради этих оттенков совсем не следует и неразумно раскалывать рабочих и вести их разными дорогами. Каждую крошечную группку, каждого отдельного «вождя» обуяла, затуманила мысль создать «свое» учение, «свою» шкалу, проявить где-нибудь «свое» имя, самому показаться, самому продефилировать. Мне все это глубоко противно именно потому, что пустые мечтатели, увлекая бреднями голодные массы, совершенно не считаются с тем — помогает это рабочей революции или нет. Им, этим хвастунам от революции, всего важнее оставить на столбцах газеты свое имя, сделаться, быть-может, «исторической личностью». Если бы к этому итти, разумеется, на таком безлюдьи можно было бы кое в чем и кое-где выдвинуться и прогарцевать по страницам газеты. Но когда ставишь себе конкретную, осязаемую задачу практической борьбы — тут политическому хвастовству не место, тут надо вести живое дело, а не брехней заниматься. Тут вот кардинальные соображения и вывели теперь меня снова на распутье и раздумье. Я смотрю на эти переходы от одного учения к другому, как на этапы зрелости. Я зрею, крепну, утверждаюсь на революционном посту — и иду все дальше, все дальше. Это в конце концов не важно, какое слово приклеишь на лбу. Кем бы я ни назывался — всю революцию я работал в теснейшем контакте с большевиками, вел с ними общую линию и чувствовал тяжесть оттого, что, говоря одно, делая одно — числился, жил где-то в другом месте. Я еще не знаю, куда итти или остаться.

«Независимым анархистом» и работать, как работаю все время, т.-е. как большевик, или же без обиняков, без дальних рассуждений — вступить в ряды коммунистов-большевиков и слиться всецело с рабочим движением? Вас изу-

мляет такая постановка вопроса? Она вам кажется смешной и наивной? Вы скажете, что тут скрещиваются два противоположных, может-быть враждебных, учения? Нет. Думаю, что это сплошное недоразумение. В анархизме и большевизме нет элементов, взаимно исключающих эти два учения. Разница преувеличена, раздута, усугублена до-нельзя борьбою вождей, владык, претендентов на великое имя в истории. Этому психологическому фактору я придаю огромное значение в ряду других. Тактика большевизма, а тем более учение его — отнюдь не исключают возможности быстрого продвижения по пути к безвластному коммунизму. Только больше логики, больше твердости и смелости у большевиков. А что у анархистов? Никакой линии поведения, никакого чутья живой действительности — горькое, смешное желание сохранить во что бы то ни стало какую-то «самостийность», следуя той логике, что «неправильно все то, что сказано и сделано большевиками». Ни одному жизненному акту не дается жизненного толкования, все вверх тормáшками, все «по-своему». И вижу я, что голодная, измученная рабочая масса все-таки чувствует правду, не бросает партию, которая изумительно борется все время революции. Отдельные элементы, правда, откололись, ушли ... Но сочувствие, общее доверие рабочих несомненно с ними, как и мое сочувствие неизменно, все время революции, было с ними, коммунистами-большевиками.

Вчера, т.-е. 1 июля, было заседание группы. Там присутствовали Ярчук и Максимов. Много было споров и разговоров по поводу истинного анархо-синдикализма и ложного, нежизненного. Я все гнул свою крутую линию, но чувствовал, что группа уже не со мной. На лицах блуждали иронические, несочувственные улыбки, когда я начинал говорить и отстаивать свою позицию. Все сочувствие было на стороне А. Яковлевича, а вместе с тем — Ярчука и Максимова. Я остался почти в одиночку. Ушел из группы еще Зильберт. И оставил вопрос открытым Павел Иванович (Мутавчиков): Я коммунист-большевик, если иметь в виду всю ту работу, что несу и веду за время революции. Всю революцию я рос политически и, наконец, дорос до более

или менее ясного сознания своей кровной близости с научным коммунизмом.

Остается только пустой формальный акт оглашения. На это также требуется смелость и смелость, пожалуй, не малая. Особенно же мне, перешедшему уже этапы правого и левого эс-эрства, максимализма и анархизма. Да, это много. Но что же делать, когда невозможно разом найти свою сущность? И неужели оставаться и числиться, когда уже перестал верить? Нет, бежать и бежать немедленно ... Мучителен только первый момент, только самое начало. Дальше будет легче... Может-быть, дальше будет легче, но теперь смертельно трудно. Я весь день только и думаю, что про свое распутье, ни на минуту оно нейдет из головы. Запутался я совершенно и не вижу выхода. Я один и не с кем посоветоваться, поговорить. Да и возможно ли тут вообще говорить и советоваться? Кто поймет, что у меня творится на душе? Я ведь и сам не разбираюсь — сумбур какой-то, борьба жестоких противоречий, оформление чего-то нового и отчаянное сопротивление старого. Порою мне отчетливо ясно, что правда у большевиков и что надо безраздельно уйти к ним. А потом раздумье, потом сомнения, потом снова и снова путаюсь, ничего не знаю и не понимаю. Уйти к большевикам — значит уйти в другой, совершенно новый мир. Там новая марксистская идеология, апофеоз государственности, централизации, дисциплины и всяческой власти человека над человеком. Там свои приемы борьбы, против которых борются все анархисты. Я схожусь с большевиками во многом, но, к примеру, как быть с хлебной монополией, в которую не верю, которую не признаю? Защищать, не признавая, ее? Но я ведь не могу так слепо повиноваться, — я люблю и чту абсолютную свободу, я хочу и буду думать сам, а не по мыслям других. А ведь уйти к ним — это значит во многом связать себя обетом покорности, подчинения и молчания. Хватит ли меня на это? Едва ли... Ну, а нехватит — снова уходить, снова мучиться в поисках новой пристани? Но тогда уж и пристаней-то не останется, кроме буржуазных, даже подумать об этом трудно: очутиться безо всякой надежды на пристань, ни в близком ни в далеком будущем. Если что зовет к ним — это непоколебимая твердость, непреклонность в проведении намеченных целей. Они

создают пролетарское государство. Мы, анархисты, против государства. Но, может-быть, здесь речь только о слове. Конкретно, на работе, мы, быть-может, будем вынуждены и сами строить лишь то, что строят большевики? Ведь оно часто так получается — говорят как будто бы и разное, даже противоположное, а на самом деле — одно единое. Нет ли и в этом споре такого рокового недоразумения? Ведь жизнь не дает итти поперек законов развития и непременно выпрямит свою линию по единственно возможному руслу — созревшей готовой суммы обстоятельств. «Долой государство», — заявляем мы. А как будем строить новое общество? Да всего вероятнее так, как позволит жизнь, а не так, как сами захотим. Продвинуть, помочь, облегчить, разумеется, мы можем, но выкинуть какой-то артикул, скакнуть через жизнь — невозможно, запнешься, упадешь. Вот анархисты борются против марксизма, как будто это сплошная ложь и ошибка. Преклонения перед идеалом анархизма — отбросить, забыть эти законы немыслимо. Я не тверд, я много, может-быть, не знаю и не понимаю, но все-таки забыть и глумиться над тем, во что верю, я не могу со спокойной совестью, хотя бы и ради высокого конечного идеала. Я весь запутался в противоречиях, я не знаю, куда примкнуть. Может-быть, никуда не примыкать, остаться «независимым анархистом». Но эта «независимость» не оказалась бы простой растерянностью, сумятицей, сплошным противоречием. О, если бы я мог охватить разом эти учения, разом увидеть pro и contra — тогда бы я смело отошел бы может быть от обоих разом и создал третье. Но теперь, не зная путем ни того ни другого, продвигаясь ощупью — что я создам? Анархо-большевизм?.. Да, это было бы название, которое наиболее полно отражает в данный момент мое миропонимание и понимание дальнейшей борьбы. Двумя половинами души я в этих двух учениях. Одно исключает другое — скажете вы. Для меня — нет. Может-быть, и по незнанию, по невежеству, но для меня одно другое не исключает. Но если создать новое учение, к нему прежде всего необходим твердый каменный фундамент, а я чувствую себя словно в трясине, твердого дать ничего не могу. Выйдя из группы, я должен ведь что-то сказать и сказать определенно, твердо, ясно: остаюсь анархистом или нет. А знаю я это

сам? Нет, не знаю. У меня две души, а может-быть и одна, только поровну рассеченная, поровну отданная тому и другому учению. Будет ли перевес, и куда — это для меня такой же вопрос, как и для вас, спрашивающих. Потом я, видимо, переутомился, страшно устал и не могу активно работать, как работал прежде. Апатия, лень, усталость, неопределенность. Не хочется ни за что браться. На текущей советской работе я еще могу остаться, но на творчество, на дерзание, на широкий размах уже нехватает сил. Это, разумеется, не разочарование, это не недовольство чем-либо и кем-либо — это усталость, плод непрерывной напряженности.

3—VII

Наше первое торжественное заседание было 1-го в понедельник, 2-ое—во вторник. Но на это второе я уже не пошел, оно мне было чужим, делать там больше мне было нечего. Остался дома и все читал, писал, думал о том, о чем думаю теперь днем и ночью. Хотелось бы прочитать наскоро, как можно больше, чтобы лучше уяснить себе дело, но нет возможности. Кинешься к одному, к другому, третьему, но все, что читается наспех — тут же и забывается, не переварившись, как следует. Может-быть, начать читать большие труды? Нет, нехватит времени ни терпения. А ведь прежде, чем сказать окончательно слово, надо и узнать окончательно. Вот вчера вечером снова стало ясно, что уйти необходимо к коммунистам-большевикам. Почему, спросите. Во-первых, потому, что вообще больше думаю в эту сторону, а во-вторых, потому, что в № 2 журнала «Коммунист» есть простая, прекрасная статья Н. Бухарина «Об анархизме и научном коммунизме». Своею ясностью она произвела на меня сильное, длительное впечатление. Это впечатление переродилось в спокойное раздумье и признание того факта, что все, сказанное здесь Бухариным, неоднократно мыслилось и говорилось мною (только разумеется не в такой ясной, отчетливой форме). Всею своей работой за 1-ые годы революции я на деле проводил идею коммунизма, называясь то так, то эдак. И теперь вижу, что поистине вредно и опасно судить о революционности по тому флагу и лозунгам, под

которыми он идет. Я ходил и под красными, ходил и под черными знаменами и все-таки оставался все тем же коммунистом-большевиком на деле, как от этого ни отмахивался. Поэтому вот и теперь эта статья Бухарина произвела прекрасное, успокаивающее действие: она собрала в одно все мои сомнения, просто, кратко и ясно суммируя — сделала из них целый ряд столь же простых и убедительных выводов, против которых мало что можно сказать. По крайней мере, я, читая анархическую литературу, не нашел, не помню там возражений, положений, которые разбивали бы, уничтожили бы эти стальные выводы ученого коммуниста Бухарина. Сам собою встает вопрос: для чего же и как попал я к анархистам. Эта ошибка еще была бы простительна темному рабочему, но мне, интеллигенту, простить этого легкомыслия нельзя. Каюсь, легкомыслие было, и легкомыслие это питалось моим безудержно-торопливым характером, подчас губительной решимостью и стремительностью. Не продумал, не узнал, поверил на слово, настроение принял за убеждение, а мечтания — за программу действий. Мы, переходя всей группой в лагерь анархистов, руководствовались, разумеется, святейшими помыслами, мы думали ускорить то дело, что совершено было в Октябре и от которого, по видимости, стали уходить, отклоняться коммунисты-большевики. Темп борьбы с эксплуататорами понизился. «Экспроприация экспроприаторов» замедлилась, а нам — юным, горячим, рвущимся к цели — нам это было нетерпимо. Думалось и верилось, что анархизм укажет те пути, которые приведут к желанной цели. Я поддался общему обаянию, свихнулся сам, допустил непростительное легкомыслие и отдался этой работе. А раз отдавшись — стал затягиваться, начал даже и верить кое во что анархическое. Да и как не поверить в конце концов, если литературу читаешь все анархическую и анархическую; газеты все анархические и анархические. В каком соку варишься, в таком и сваришься. Читал бы одну правоэсеровскую литературу — несомненно был бы правым эсэром. Я все время своей кочевки по партиям не чувствовал твердой базы. Теперь же, при приближении к научному коммунизму, я чувствую дыхание этого могучего, мраморного базиса — тут фундамент тверд, не заколеблется. Моя глубочайшая, непосредственнейшая симпатия к коммунизму

обнаруживалась за все время революции, и этой симпатии, инстинктивному тяготению следует придать особенное значение именно потому, что мною не было прочитано ни книг ни брошюр порядочных — я все узнавал лишь по текущей прессе. С другой стороны, постоянно читая книги, брошюры и газеты анархистов, поддаваясь порою их обаянию— в минуты трезвого спокойного размышления — я неизменно расчислял все прочитанное, как брехню, как доброе пожелание, как мечту. И никогда не верил всерьез тому, что там говорилось — не верил, но увлекался, в этом последнем каюсь. Теперь статья Бухарина, как некогда молебен в Лежневе, является поворотным пунктом, играет решающее значение в истории моих сомнений и мытарств по пристаням истинного учения. Эти два учения — анархическое и марксистское — образно отразились в своих славных вождях — Бакунине и Марксе. Две львиные головы, два огромные ума. Один — бунтарь (и это название особенно характерно), разрушитель, неспокойный органически на созидательную работу в ее простом, конкретном смысле. Другой — холодно умный, осторожный аналитик исторических процессов. Его выводы непреложны и убийственны для каждого противопоставления. Там — бунт, здесь — борьба. И я, по природе своей склонный к бунтарству, поверил, что можно прожить одним этим качеством, одною своей нервозностью, одним устремлением к разрушению. Впрочем, здравый рассудок все время одергивал, а факты, нужды живой действительности, ставили втупик на каждом шагу и задавали убийственные, сокрушительные вопросы. Я старался примирить непримиримое: будучи анархистом, признавать на деле и власть, и насилие и угнетение наших классовых врагов. Это не вязалось с учением, но иначе поступать я не мог. Я еще не созрел до того, чтобы отряхнуть с себя анархические иллюзии, я все еще верил, что их можно каким-либо образом приложить к жизни. Все оказалось плодом доверчивости моей мягкой души. Серьезного тут не было, и вполне понятно, что я сразу впал в сплошное противоречие. Говорил, учил одному, а на деле выходило другое. Этому противоречию, этой невыносимой двойственности рано или поздно надо было положить конец. И этот конец теперь, видимо, положен. И положен невозвратно.

Когда Ярчук на собрании группы поставил прямо вопрос: «Так в чем же вы расходитесь, где линия, которая рассекла две половины единой группы? Есть ли нужда в расколе?» — когда вопрос был поставлен таким образом — я почувствовал громадное затруднение, я не знал на первое время, что сказать. Да и что было говорить? Про свою близость, про свой контакт с большевиками? Но ведь линия раздела между синдикалистами и чистыми коммунистами проходит совсем по иному месту, по иной группе признаков. Я затруднялся отвечать, ибо отвечая полностью, в открытую, чистоганом — я должен был отвергать не только форму, но и сущность, против которой инстинктивно уже протестовал. Я ухватился было за «анархо-большевизм», как окрестил мои убеждения т. Черняков, но, по размышлении, вижу, что это слово не имеет права гражданства. Один из товарищей взялся рассказать то, что произошло. Начал он издалека: «Дмитрий Андреевич был нашим вождем. Мы ему верили, считались с ним, как ни с кем другим и пользовались его помощью. Он нам читал, разъяснял, указывал... Все шло хорошо. Потом в Москве расстреляли, разгромили анархистов. Он был там в эти дни, а по приезде — сделал два публичных доклада. Там он пытался как бы оправдывать большевиков. С того времени мы ему перестали верить и стали относиться без прежнего внимания. В группе что-то треснуло. Мы остались как бы одни, потому что ему больше уже не доверяли, а сами разобраться мы не умели. Дмитрий Андреевич во всем и всегда старался благожелательно относиться к большевикам. Мы уже этого не признавали. Он мало говорил про анархо-синдикализм, и мы спервоначалу верили, что этому именно и учат анархо-синдикалисты. Но что же это за ученье? — порешили мы и отошли от него. Отошли и стали считать себя коммунистами, которые в газете «Анархия» смело боролись с большевиками. Теперь уже после ваших слов мы видим, что и анархо-синдикализм против большевизма, а потому и мы теперь снова будем синдикалистами...».

Товарищ на этом кончил. Стали каждого опрашивать — кто он. Я и Зильберт вышли. Мутавчиков и Сидоров воздержались, остальные, человек 20, оказались анархо-синдикалистами-коммунистами. Едва ли они разобрались в этом.

Все тверже и тверже вступая на платформу марксистского коммунизма, я уже не только не жалею о том, что был одно время в рядах анархистов, но, наоборот, радуюсь этому, с известной точки зрения. Я, видимо, навсегда уже стряхнул с себя обаяние всяких увлекательных теорий в революционной борьбе, они меня уже не увлекут, не собьют. Желания останутся у меня в мечтах, в помыслах, а бороться, работать буду с фактами в руках, а не с иллюзиями и благопожеланиями. Поэтому я пожелал бы каждому неотведавшему революционному марксисту побывать в рядах мечтателей, пожить с ними, повариться в их соку, чтобы вывариться оттуда, как ошалелому, чертыхаясь и проклиная, дергаясь, хохоча и рыдая. Когда оглянешься назад — немножко смешно, немножко стыдно, а в общем — полезно. Хороший урок получил я от этих братаний по партиям и группам. Прямо интеллигент без классовой базы. Шарахаюсь из стороны в сторону. Теперь прибило к мраморному, могучему берегу—скале. На нем построю я свою твердыню—убеждение. Только теперь начинается моя сознательная работа, определенно классовая, твердая, уверенная, нещадная борьба с классовым врагом. До сих пор она была плодом настроений и темперамента; отныне она будет плодом научно-обоснованной, смелой теории.

5—VII

Пришлось пару слов сказать о Любимове. Он, конечно, обрадовался, когда узнал, что перехожу к коммунистам. Даже поздравлял Валерьяна. Я отправился в редакцию. К счастию, мое заявление о выходе из группы анархистов не было еще отпечатано. Оно было такого содержания: «Заявляю о своем выходе из местной группы анархистов, так как не схожусь с группой по целому ряду крупнейших вопросов, главным образом, в вопросах об отношении к советам и партии коммунистов-большевиков». Теперь, после того, как было уже заявлено некоторыми товарищами о симпатии к большевикам и даже о твердом желании войти в партию, не было нужды дальше таиться. Я воспользовался тем, что заявление еще не было отпечатано, и взамен старого, ранее данного, дал новое, следующего содержания:

«Заявляю о своем выходе из группы анархистов и о вступлении в организацию коммунистов-большевиков».

Это заявление сегодня появится на страницах «Раб. края». Будут вопросы, запросы, насмешки, подозрения, восхищения... — все будет. Но раз твердо решившись — я сделал свое. Были и колебания, была неуверенность, но события, думы, разговоры гнали меня неизбежно к берегу коммунизма. Нехватало только смелости заявить открыто. Теперь все кончено. Теперь Дм. Фурманов — коммунист-большевик.

Чувствую еще некоторую растерянность, нетвердость, словно после оглушительного удара. Я еще не соображу всего разом, никак не взвешу, не обдумаю. Произошло ведь со мной событие колоссальной важности: я причастился того учения, которое не осмеливался назвать своим, выполняя его самым усердным образом в течение всей революции. Теперь я весь повеселел, сделалось легко, свободно. Но еще войти с головой в новую среду я не могу, робею. Я даже не смею еще назвать себя коммунистом-большевиком. Слишком ново, слишком торжественно, празднично, значительно. Не одумаюсь, не оправлюсь никак. Хочется работать, работать, работать. Откуда-то взялись новые силы, свежая бодрость, огромное желание без устали трудиться.

8—VII

Вечером 6-го уехал в деревню, где был до утра 8-го. Но и там все мучили, терзали думы — так ли, правильно ли сделал, как бороться дальше? Не ошибиться бы в чем... 8-го, тотчас же по приезде, пришлось проводить митинг на ф-ке Советской республики по поводу открытия детских столовых, на организацию которых необходимо с рабочих сделать единовременное отчисление в размере полдневного заработка. Митинги — по всем фабрикам. Успех малый. Недоверие к советским затеям огромное:

— Вы там сыты и руки греете около теплых-то мест, а нам только подавай, да подавай отчисления. Нет, уже

благодарим — мы и сами сумеем без вас купить... Будет болтать, долой!

И море голов заволновалось. Женщины-пролетарки в большинстве своем голосовали за столовые. Вопрос был отвергнут. Между прочим подали записку:

«Почему это вы перешли к большевикам? Это подозрительно».

Что подозрительно? Видимо, товарищ думает, что я был в группе для шпионажа что ли — не знаю. Вот они — большие для меня вопросы и подозрения начинаются. Значит, загуторили, заговорили, кому интересно, судят-пересуждают. И, верно, не хвалят, очень уж стремительно, очень уж легкомысленно скакал из одной партии в другую, как мальчишка, непростительно. Мне даже и на лицах большевиков, которые несомненно рады новому активному работнику, даже на их лицах мне чудится ироническая улыбка. Вот сегодня на митинге язык еще не повернулся сказать «мы, коммунисты», даже слово «власть» еще не могу произносить легко — так меня затянули осторожность и лавирование в период бытности в группе. На деле мы власть и проводили, а на словах боялись ее и даже слова самого чурались. Теперь обман окончен, но он еще имеет силу надо мною, его скоро не вытравишь. «Смелее, смелее, — повторяю я себе непрестанно. — Много еще будет испытаний — терпи. Ты подскочил ведь к партии коммунистов не в медовый месяц ее октябрьско-ноябрьских побед, когда пол-России ушло за большевиками... Тогда не диво было, что к ней, победительнице, шли на поклонение, ее веру почитали за лучшую, тогда это было в порядке вещей. А ты подходишь, прикасаешься к ней, как раз в период тягчайших страданий, которые она переживает. Ты к ней подошел не как к торжествующей победительнице, а как к святой мученице. Независимо от объективных условий. Она взяла тебя и притянула к себе. Ты в ее власти, как это ни ново. Будь тверд, смел и спокоен».

— Убили Мирбаха... Что за этим последует?

— Придержали левых эс-эров — что за этим последует?

— Голодно, ой, голодно...

Что будет дальше?

9—VII

Контр-революция

Все коммунисты призваны под ружье. Имеются голоса о вооружении не только коммунистов, но и вообще надежных рабочих (В. Я. Степанов). В казармах армейцы, как пчелы — все рабочие, старые знакомые, с которыми работаю всю революцию. Пришло человек 500. Выдано обмундирование, вооружение, часть немедленно же, в 1 ч. ночи, отправляется в Ярославль (150 человек). Оттуда уже есть раненые (прибыло 7 человек).

Ярославль горит и разрушается. Там расстреляно до 300 гвардейцев, противившихся Совету. Муром занят. Близ Костромы занят какой-то городишко. Мы все на ногах и готовы к бою. Но в бой не верим. Думаем, что все обойдется без него. Если удастся ликвидировать в Ярославле — все будет спасено. Не будет тогда дела в Рыбинске и в Вологде. Переживаем корниловские, кереновские дни. То же волнение, та же горячка.

17—VII

«Статья»

Ее еще надо написать, создать, эту мифическую статью. Необходимо. Но устал я. Вот 4—6 пустых часов впереди, и писать не могу. Сесть не могу, приняться не могу, думать, напрягаться не могу. Тошно, скучно, вяло стал я жить последнее время. Видимо, переутомился. Хочется чего-нибудь легкого — стихов, что ли, аль «романов», хочется ягод, фруктов, поцелуев — словом, чего-нибудь такого, что не заставляло бы думать и думать без конца. Необходимо отдохнуть. Статья моя должна была бы осветить роль интеллигенции в текущей революции. На фоне общей картины колебания и нетвердости, случайности и эпизодичности интеллигентской работы — можно было бы вырисовать и факт собственного постепенного перехождения, оформления и прояснения. Можно было бы дать хорошие иллю-

страции. А время идет. Мысли бледнеют, многое забывается, теряет остроту и прелесть. И нельзя уйти. Мы должны быть на местах до последней минуты. Впрочем, возможен отпуск. Подкрепление необходимо.

1—X

О новых коммунистах

Вслед за мною в партию коммунистов перешли: Зиберт, Топаров, юрист Смирнов с женой; бывший комиссар юстиции П. Соколов; зав. статист. отд. Губсовдепа Озеров; правый эс-эр, студент, Вячеслав Иванов. Всех их убедило, все поняли, что революционеры собрались только по ту сторону баррикады, в лагере коммунистов. Все остальное — явно или тайно идет против или тянутся назад. Я окончательно успокоился и чувствую себя твердо. Несколько недель уже состою секретарем Окружного к-та партии. Веду широкую работу и чувствую себя так, словно занимаюсь ею долгие годы.

Четыре собрания

I. 13-го сентября было партийное собрание в Шуе. Поставлены были на обсуждение вопросы повестки дня Областной конференции. Настроение приподнятое, ощущается желание расширить, раздвинуть партийную работу. Всего присутствовало человек 30—35. Заседание было прервано известием о каких-то выстрелах. Разом поднялись человек 10 красноармейцев, куда-то побежали. Тревога оказалась фальшивой, напрасной. Закончилось заседание только глубокой ночью. Обращено было должное внимание на конструкцию партийного аппарата. Секретарем выбран товарищ Сахаров, молодой, вполне приличный работник.

II. 22-го был уездный съезд коммунистов в Кинешме. Всего собралось до 300 человек. Среди других вопросов был и вопрос об арестованных экс-работниках совдепа, к-та и др. организаций. Заседание длилось почти непрерывно 17 часов — с 2 часов до 7 утра. Вопрос об арестах занял 10 часов. Принята резолюция о жестокой расправе с винов-

ными, с объявлением конфискации, доклад был сделан товарищем Фурмановым. Доклад, видимо, взбудоражил и дал богатую пищу разговорам — о партийной дисциплине, организации сочувствующих и проч. Кинешма гостей встречает по-хорошему. Организовали чай, бутерброды, обеды не по дорогой цене. Все 17-часовое заседание было сплошным напряжением и ожиданием чего-то страшного. Вопрос о Цветкове страшно всех волновал, ожидалась оппозиция обвинению, так сказать, защита грабежа, бандитизма, шантажизма и прочего. Но «защитники» перепугались, закусили языки, увидели, что дело неладно и обстоит грозно. Цветкову грозит расстрел. То же грозит Савенкову и Зельдину. Съезд прошел с большим подъемом.

III. 27-го в Лежневе было проведено партийное заседание ячейки, которая существует вот уже несколько месяцев и до сих пор не утверждена. Всего набирается человек 25. У некоторых имеются вполне достаточные рекомендации. Я им обещал утвердить ячейку в ближайшие дни и в понедельник, 30-го, делегаты были уже в Комитете.

Среди присутствующих товарищей царило необыкновенное оживление. Их обидела невнимательность окр. к-та, который до сих пор не утвердил их ячейки. Высказывают большое желание работать.

Отдохнув часа 1½—2, открыли лекцию на тему: «Как борются рабочие и крестьяне за социализм». Зал бывшего Кокушкинского дома переполнен, на улице за бортом осталось человек 100—150. Ребятишек совсем не пускали. 2½-часовая лекция была выслушана в гробовом молчании, с большим, видимо, интересом. После лекции подошел учитель годов 40, в очках, по виду педант и брюква — пожал руку и говорит:

— Кабы почаще такие беседы — мы все сделались бы большевиками.

Публика еще долго не расходилась — читала газеты, бродила по залам, толпилась около рояля, где кто-то что-то наигрывал.

Мы ушли в отдельную комнату — члены Совета и ф.-з. к-та, и стали разбирать конфликт, возникший из-за помещения, из-за скотины, освещения и прочих дел. А дела эти выплыли наружу только в связи с национализацией предприя-

гия, после чего ф.-з. к-т стал предъявлять притязания и на дом, и на скотину и проч. Конфликт улажен был в том смысле, что те и другие будут подчиняться впредь директивам партийного к-та.

Была уже глубокая полночь. Решили ехать на Тейково, до которого оттуда верст 20—25. Подали коней, и мы с военным комиссаром затрухали по ухабистой дороге. Ночь была мокрая, скользкая, грязная. Лил дождь, по небу кочевали мутно-серые облака. Я закутался в халат и одну руку запустил в карман, придерживая револьвер. Товарищ спал, свернувшись, как котенок. Дождь разошелся не в шутку, дорога страшно набухла. Через 3 — 4 часа заблестели из тумана огни славного Тейкова. Приехали. Там на станции во всевозможных положениях помещались человек 150 — 200 мешечников. Через три часа пришел поезд, набитый туго на туго мучениками-мешечниками. Пострадав еще час в телячьем— предстал в Манчестер.

IV. 30-го был в Кохме.

Собрал человек 60. У них много народу ушло со всевозможными отрядами, и равно ушли и мобилизованные коммунисты. Ребята производят впечатление хорошо спевшегося хора, — все у них складно, все ладно. Среди них хорошо чувствуется твердость, спаянность, готовность. Они во-время исполняют все наши распоряжения и предписания. Сидели до глубокой ночи. Заслушан был мой доклад о работах об. к-та. Задавались вопросы, разрешались недоумения. Товарищей живо интересует все, что ни касается партийной работы.

2—X

V. Не четыре собрания — приходится говорить о пятом, а в ближайшие дни—о шестом, седьмом, восьмом .... Работа закипела. Устраиваются всюду конференции — уездная и районная. Вчера пришла телеграмма, посланная и полученная в Иванове 25-го. Пришла только вчера (1-го). Итти всего 60 верст. Она из Вичуги. Гласит следующее:

«1-го районный съезд. Высылайте представителя». Поездов уже не было, телеграмма пришла в первом часу. Сейчас же по телефону:

— Отложите до 6-ти, приеду с товарным...

Но товарного не оказалось. Снова к телефону:

— Отложите до полночи, выезжаю с вечерним...

Приехал к ним полчаса двенадцатого. Подали на станцию лошадь, собралось 43 человека... Беседовали часа 3—3½ — все о наших задачах, о работе партии. Довольно оживленно обсуждался вопрос о фактическом снабжении деревни газетой и литературой. Предлагали прибегнуть к потребительским обществам и действовать через них, ибо эти общества объединяют по 5—6 селений.

Дальше предлагали такой план:

По волостям развозить из района или уезда, и из волости по деревням распространять таким образом: ближайшая деревня берет сразу 10-20 экземпляров, 2-3 оставляет у себя, остальные отсылает в следующую, там 2-3 экз. оставляют, остальные дальше и т. д. Поручено секретариату взвесить все, составить план и представить его на обсуждение и утверждение к-та на первом же заседании.

В текущих делах обсуждался вопрос о том, работать или нет анархисту т. Романову в кассе безработных, памятуя то обстоятельство, что 1-го Мая он выступал против политики Совета народных комиссаров. Постановлено оставить, как честного работника, надежного и верного товарища, не обращая внимания на идейное расхождение.

Пили чаек, со вкусным, 26-рублевым ландрином. Это благоденствие всегда наводит меня на печальные размышления. Особенно эти размышления зачернели, когда пришел ночевать к т. S. Он угощал молоком, сливочным маслом и хлебом, а на утро ко всему этому прибавил: сахар, конфеты, чай, пирог с яблоками, пирог с картофелем... Правда, он угощал сравнительно редкого и, видимо, уважаемого гостя, но все-таки согласитесь, что стол не по времени, во всяком случае не «пролетарский» стол. Теперь всюду нас встречают товарищи прилично даже и с внешней стороны: обычно высылают на станцию лошадь, под ночлег отводят комнату. Дома у буржуазии отняты, и нас теперь есть где принимать. Настроение среди коммунистов твердое, уверенное, смелое. У них, видимо, и мысли не зарождается о том, что все это когда-либо может пошатнуться. Им эти сомнения нейдут на ум. Но от времени до времени возникают стычки между

ф.-з. к-ами и советами, а где есть правления — и между правлениями.

Партийные к-ты всюду разрешают недоразумения. В ф.-з. к-те из 70 делегатов только 9 коммунистов, но они проводят все, что вздумают. Товарищи задумывают еженедельно устраивать митинги — в 3-4 местах. Дают своих 2 ораторов; одного думают брать из Кинешмы, одного от нас, из Иваново-Вознесенска. Словом, всюду на местах у товарищей проявляется большая забота о рабочих, о просвещении их, о подъеме настроения... Из Вычуги, пункта сравнительно отсталого, вынес хорошее впечатление...

5—X

VI. 4-го состоялся уездный съезд коммунистов в городе Середе. Прикатило человек 200. В числе других прикатил и я. Нигде — ни в партийном к-те, ни в совете, ни на заборах о съезде ни гу-гу. Можно было подумать, что никакого съезда вообще тут не предстоит. Обращаюсь в партийном к-те к секретарю:

— Объявлено ли, где состоится съезд и когда?

— Нет, пока не объявлено.

— А рано ли думаете открыть (было уже 3 часа).

— Да, часа в 4.

— Так... А повестка дня готова?

— Нет еще...

— Так, когда же вы будете ее составлять? Какие вы будете вопросы разбирать?..

— А право не знаю... Мы хотели часика в три собраться, да покумекать на этот счет... А мне одному совсем некогда, мне за перегруженностью работы...

— Да ну вас к чорту с перегруженностью работы, — обозлился я... — Что вы в самом деле, игрушкой что ли считаете уездный-то съезд?

— Право некогда, т. Фурманов, — отвечает он растерянно...

— Дайте-ка бумаги.

Я взял несколько листов бумаги. На одном крупно написал объявление о месте и часе открытия съезда, отослал развесить, где следует. На другом листе написал, что ему

надо делать сию же минуту: приготовить бумагу, ручки, пресс и проч. Поставить регистрационный стол, поставить в дверях контроль...

На третьем листе начертал:

1. Вступительное слово, т. Фурманов.
2. Выборы президиума, оглашение регламента.

I. Цель съезда.

II. Доклады с мест.

III. О работах обл. конф. и задачи партии в текущий момент, т. Фурманов.

IV. Выборы в уездный партийный комитет.

V. Текущие дела.

Всю эту музыку приходилось делать экспромтом. Подъезжая сюда всего час назад, не знал еще твердо: будет ли выбран у. к-т, или будет пополнен существующий районный? Не знал еще и порядка дня съезда. Пришлось все делать в две минуты. Открыли съезд часов в 5. Без перерыва сидели до 10 и кончили пением революционных песен. Съезд прошел великолепно. Настроение таково, что лучше желать нечего. Всюду по волостям коммунисты организуются, утверждаются, разгоняют кулацкие советы и к-ты бедноты, создают свои. Крестьяне бедняки относятся с большим сочувствием. Кроме Середской — представлены были 6 организаций. Они довольно малочисленны (самая крупная Писцовская — 35 человек, кроме, разумеется, Середской, насчитывающей 130 человек), но, не взирая на малочисленность, замечательно прочны и чувствуют себя превосходно и смело среди моря чужаков.

Выбрали уездный комитет из 5, трое из которых составляют постоянно работающее бюро, двое только являются на совещания по приглашению бюро и, кроме того, 7 человек (по одному от каждой организации) приезжают 1 раз в 2 недели на пленарные заседания у. к-та. Было уже 10 часов, когда, получив добытые откуда-то фунта 3 хлеба — с Валерьяном, председателем и членами коллегии местного чр. к-та — я отправился в чрезвычайку. Тьма отчаянная. Огней нигде... Было нечто таинственное в этом кратком путешествии. Оно длилось всего 12—15 минут. Но весьма памятно своей оригинальностью. Спускались в какую-то бездну по крутому откосу, переходили какие-то балки над ручьем, как

серны скакали по светлым плешинам камней... Потом сразу вверх, по откосу противоположной стороны — и на грунту, чрезвычайка была тут. Словом, из черной бездны попали мы в светлые чертоги — на высокие, чистые окна, мягкую бархатную мебель, украшения барского дома, занятого теперь чрезвычайкой.

Ребята, не долго думая, сварганили самовар. Он повторялся раза четыре, из-за него мы и ушли к поезду в половине 5 утра. Сидело нас вокруг стола человек 6 — 8 — все работники, то партийные, то советские, то чрез. к-сии. Разговор шел все время о репрессиях, о контрибуциях, о терроре и прочих вопросах момента. Около первого часу ночи вспомнили, что тут же под ч. к. сидят два буржуя, еще не допрошенные по делу экс-пред. Середского совдепа — Гощева. Позвали одного, позвали другого. Долго бились с первым — директором правления: все путался, все заминался. Потом, сбитый совершенно, сообщил, что Гощев был у него два раза на квартире. Г., как лакей, приходил на квартиру к буржую-директору. Может-быть, даже брал взятку, может-быть, даже держал контакт — чорт его знает, следствие раскроет. Буржуи дрожали. Насилу подписали свои показания, так дрожали руки. Словно подписывали себе смертные приговоры. Глаза их дико блуждали, лица передергивались судорогами, они хватались за голову, привскакивали на стуле, кланялись, извинялись — словом, держали себя подло и унизительно. Слушать их было стыдно и противно. Часу в 4-ом второго увел красноармеец. Мы снова ушли к самовару. Дали сахар, дали варенье. Допросы весьма живописны и самобытны, необходимо руку художника.

Картинки

— Во как чисто работают! — указал мне рабочий на разобранный возле мостовой забор.

— Буржуки?

— А то кто же? Каждый день гоняем, то улицу подметут, то дрова наколют, а то и с забором справляются...

В это время подошел и пошел рядом с нами другой рабочий. Он молвил, услышав, о чем говорили:

— А Кирилла-то Матвеевич, пожалуй, лучше всех работает... Усердный.

— Не... Куда ему, вот Сипатра так работает: как махнет, так и жердь пополам, как секнет, так и бревно на двое...

— Надо бы ему чорту...

Я, сидя в чр. комиссии, услышал свист и скрежет пилы:

— Это кто?

— А дьякон на дворе с прапорщиком древесину разнимают.

— Какой дьякон?

— А, так ты не знаешь — это, брат, веселая штука. Он, дьякон, прошлую ночь вдрызг пьяный обыграл этого прапорщика, что с ним пилит, на 1½ тысячи. Оба пьяны были смертельно... Про что-то повздорили. Дьяче ухватил прапора за бороду, а тот его за гриву... Выбежали ночью на волю и давай кричать, а мимо как раз два армейца.... Ну, их замели и представили сюда. У дьяче в кармане нашли кумушку и 1½ тысячи кредиту... Как только привели — невозможно их было поставить вместе, так и кидаются, готовы загрызть один другого... А теперь вон пилят за милую душу. Ласковые, разговорчивые, даже прикуривают один у другого. Мы их сразу подружили...

8—X

VII. По той же программе 6-го октября был проведен съезд в Тейкове. Избрали уездный партийный комитет и председателем зарядили испытанного бойца и любимого Тейковским округом работника — Ив. Ив. Короткова.

Вступительное слово взял себе. И как-то совершенно неожиданно оно отлилось в форму сообщения о международном положении и тех задачах, которые возлагает на нас изменившаяся ситуация. Германия пробуждается, в Германии грядет рабочая революция. Рабочим Германии, может-быть, понадобится наша помощь вооруженной силою, хлебом, сырьем... Мы должны быть ко всему готовы. На партию сообразно этому падает новая задача. Напряжение сил должно стать максимальным... По всем вопросам пре-

ний не было — были лишь деловые заметки, необходимые вопросы и справки. Заседание продолжалось всего 3 часа. Тейковцы устроили нам недорогой обед и покормили на славу сыто. За столом приехавшие из деревни товарищи делились с нами, горожанами, привезенным хлебом, вели себя, как настоящие коммунисты. Живое, бодрое, веселое настроение. Ясное, твердое решение — стоять до конца.

VIII. Аналогичный съезд 7-го — в Родниках. Открыли его поздно, в десятом часу. Народу собралось человек 50. Товарищи слушали с большим вниманием. Ни единого хлопка, никакой суеты. Родниковцы вообще публика организованная. У них революционеры работали по округу непрерывно с 1904 г. И теперь они работают довольно интенсивно. Например, уже теперь, когда только-только началась кооперативная кампания — они уже провели в правление кооператива больше половины своих товарищей. Имеется забота реорганизовать рабочий клуб таким образом, чтобы в него действительно ходили с удовольствием рабочие, а не являлись бы шумной гурьбой одни конторщики и продавцы. Рабочий — засаленный и грязный — пока-что итти туда не рискует. А если и придет — послоняется, потолкается, тем и кончит. Нет человека, который взял бы все дело в свои руки. А клуб рабочих ведь должен быть резервуаром, подготовительной школой, откуда можно было бы постоянно черпать все новые и новые силы . . .

Теперь вот идет еще запись в организацию сочувствующих. Из устава, принятого московской организацией, родниковцы выбросили пункт о том, чтобы дать сочувствующим в партийном к-те $^1/_8$ представительства с решающим голосом.

По округу одна за другою вырастают ячейки коммунистов. Крестьяне оживляются, идут на помощь и к-там бедноты и ячейкам коммунистов.

13—XI—1918 г.

IX. Сегодня же 8-го созываем общее собрание коммунистов по Иваново-Вознесенску. Центральным вопросом стоит тот же вопрос о конференции и задачах партии. Собрание ожидается многолюдное.

Присутствовало около 500 человек. Пишу через 2½ недели. Многое забыл, многое совершилось так же, как и на уездных съездах по губернии, разве только вопросов было значительно больше, интерес живее, да пенье дружнее...

X. 17-го съезд уездный в Шуе — непосредственно за уездным съездом к-тов бедноты. Настроение высокое. Работа несомненно улучшилась, — думаю, что после губ. конференции связь будет планомерною и постоянною.

XI. 20-го уездный съезд в Юрьевце. Приехал я туда на день раньше, не получив точных сведений о дне открытия съезда. Но приехал я рано не понапрасну: товарищи использовали меня до пят. В один день 19-го пришлось в разных местах провести три митинга, а в заключение — партийное комитетское собрание. На следующий день была поставлена публичная лекция, в перерыве заседания съезда, а часам к 11 вечера был закончен и самый съезд.

XII. 21-го, после лекции-митинга, проведено было партийное собрание всей Пучежской группы, вместе с сочувствующими. Присутствовало человек до 50-ти и ни один из них не ушел до самого конца заседания. Здесь несколько хороших работников — Раевский, Орлов, Громов, Муков, Соловьев... Ячейка еще не утверждена. Настроение прекрасное. В среде местной интеллигенции перелом в сторону советов.

XIII. 23-го общегородская конференция в Иваново-Вознесенске. Не было почти никого из самых видных работников — вся заняты и в разъездах. Конференция довольно вялая, малолюдная, проведенная к тому же неумело.

Долго спорили о продовольствии — решили поделить картофель ф.-з. к-там, так как гор. прод. отд. бездействует.

Перевыборы Совета

Я секретарь губ. к-та РКП, т.-е. человек, который, повидимому, должен все знать подробнее, глубже, полнее простых смертных, который должен многое, многое узнавать раньше других. То ли на деле? Нет, не всегда так. Беру пример:

По всем телефонным станциям отдан из центра пароль. Ну, ничего не знаю.

В городе перевыборы совета — а самый порядок выборов не усвоен мною и до сих пор. Пришлось вот проводить митинг на Зубковской. На 3-х фабриках: ситцевая, отбельная, ткацкая — всего работает свыше 2½ тысяч человек; на митинге было 200—250 чел. Как видите — весьма мало. Правда, ситцевая денная, кончает она в 4, а митинг был в 2, Ну, ничего не знаю.

Да и те стоят, смеются, видно, что ни одному моему слову не верят. Хлеба — вот нам вопрос, сказала мне одна женщина, когда я по обычаю сказал: ну, товарищи, кто еще о чем хочет спросить?

Да, плохо-плохо.

А я ведь — один из лучших «ораторов» — это запомните. Что же «дают» и что же «получают» остальные-то товарищи? Одна скорбь. Мы ведь еще все вращаемся в кругу партийных, а следовательно дисциплинированных, твердых, лучших товарищей. С гущей у нас теснейшего общения нет. Только посудите: у Зубкова за все лето, с весны были 2-3 раза. И то ведь не большинство ф-к, только некоторые в счастливом исключении.

И вы знаете, сколько на всех трех ф-ках коммунистов? 16 человек. Это на 2½ тысячи рабочих.

И как обрадовались партийные товарищи, когда увидели меня, одного из своих «вождей».

Начали сейчас же сходиться, искусственно громко что-то объяснять, о чем-то спорить, чтобы «вождь» ведал и знал, что они тоже «не спят». Жаль их — дорогих, но беспомощно одиноких. Их мало средь бесконечного моря голодных, недовольных, обозленных рабочих. И все-таки они держатся героями. Молодцы, ребята. Мало вас, коммунисты, зато хорошие вы, честные люди и твердо-смелые борцы.

Рабочее Издательство „ПРИБОЙ“

Ленинград, ул. Герцена, 15. Тел. 217-79.

Москва, Лубянский пассаж, 46—49. Тел. 2-24-09

НОВИНКИ ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вышли из печати:

Безыменский, А. — Феликс. С портретом Ф. Э. Дзержинского. Стр. 24. Ц. 20 к.

Скоринко, И. — Стальной гамуз. Стр. 64. Ц. 40 к.

Фадеев, А. — Разгром. Роман. Стр. 215. Ц. 1 р.

Печатаются и готовятся к печати:

Брыкин, Н. — Люди низин. Повесть.

Коробов, Як. — Дёма Баюнов. Роман.

Крайский, Ал. — Повесть о солдатских костях, погребенных в Турции.

Лошкин, Ф. — Мещанская жизнь. Повесть.

Лузгин, М. — Хуторяне. Повесть.

Никифоров, Г. — У фонаря. Роман.

Семенов, С. — Наталья Тарпова. Роман.

Соловьев, Борис. — Книга стихов.

Фадеев, А. — Против течения. Повесть.

Фиш, Геннадий. — Книга стихов.

Чумандрин, Мих. — Родня. Повесть.

ЦЕНА 1 Р. 70 К.

16917

ГОРГСЕКТОР. ИЗД-ВА „ПРИБОЙ"
ЛЕНИНГРАД: УЛИЦА ГЕРЦЕНА, ДОМ № 15. ТЕЛЕФОНЫ: 217-79, 217-78.
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: ЛУБЯНСК. ПАСС., 46—49. Т. 2-24-09.
ОТДЕЛЕНИЯ: В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, ХАРЬКОВЕ, КИЕВЕ, СВЕРДЛОВСКЕ, НОВГОРОДЕ, ЧЕРЕПОВЦЕ И В УЕЗДНЫХ ГОРОДАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГУБЕРНИИ